

ИОСИФ МИГИРОВ

ДО ВСТРЕЧИ, БРАТ



Населенъ хъаре дикторъ
Мигирова а наниушъ
ногъе наниушъ
абмора.

Иосиф Мигиров

40 ВСТРЕЧИ, БРАТ

РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭЛЬБРУС»
НАЛЬЧИК · 1984

С(Тат)2
М 125



Иосиф Мигиров — молодой татарский прозаик, пишущий на русском языке. Он выпускник Литературного института имени А. М. Горького.

Рассказам И. Мигирова присущи своеобразный национальный колорит, вера в доброту человеческой души. «До встречи, брат» — первая книжка автора.

М $\frac{4702010000-036}{M125(03)-84}$ 31-84

© Издательство «Эльбрус», 1984.

ЛЕСТНИЦЫ

Этот год Данил объявил «годом Лестницы». То ли материал у него подобрался для них — из реек, то ли еще почему, но Данил уже видел, какими будут они и знал их количество.

А сработать он решил — семь. По количеству разменянных им десятков лет, так до едкой тоски незаметно прошедших и растаявших, словно это были не десятилетия, а каких-то несколько ложек соли, невзначай и неизвестно для чего брошенных в кипяток.

Данил не был ни краснодеревщиком, ни просто плотником. И хотя в жизни ему много чего пришлось переделать, служил он всего на двух должностях. Последней, после которой он уже три года как ушел на пенсию, была работа школьного завхоза. И хотя ей он отломил добрый кусок своей жизни, почти ее всю, главная должность осталась там — в смертных сороковых, когда он был трубачом полкового военного оркестра.

Был и остался им. Потому что так и не смог перешагнуть той полосы из нескольких лет. Не смог потому, что нельзя навсегда оторваться от главного дела жизни, ибо главное дело не бывает ни коротким, ни продолжительным. Оно — просто главное.

И Данил выполнял его хорошо. Он был незаменимым трубачом.

Был Данил и хорошим солдатом. И если требовалось, брал винтовку, и никто не мог

упрекнуть полкового трубача в том, что хранился он от пуль за чужими спинами. Никто не мог, потому что упрекнуть было не в чем.

Теперь свою трубу Данил берег в стареньком, но еще крепком шифоньере. Изредка, по случаям, доставал и наводил на золоченой меди бравый блеск.

Но ни разу, почти за сорок лет после победного дня, он не сыграл на ней и, кажется, позабыл привкус прижатого к губам чуть солоноватого мундштука.

— Что же ты, Данил, так никогда и не сыграешь? — поначалу спрашивали люди.

— Фронтowej трубач просто так играть не может, — полушутя отвечал он и вспоминал послевоенную клятву, что не прикаснется к мундштуку до особого случая.

Что за случай — не знал ни сам Данил, ни кто другой.

Люди уважали Данила, а после одного случая к этому чувству добавилась суеверная осторожность.

В тот день Данил стоял в кругу товарищей. Как обычно, над кем-то подшучивали, вспоминали разные случаи. Мимо них, поздоровавшись, прошел пожилой мужчина. Данил долго смотрел ему вслед. Кто-то заметил его пристальный взгляд и ухмыльнулся:

— Данил, ты смотришь, как вслед молодой девушке.

Данил не то для себя, не то для других медленно сказал:

— У него было такое лицо, как будто он завтра умрет.

Товарищи поначалу как-то зябко насторожились, потом завели разговор о разных чуде-

сах, а в конце концов все перевели в шутку. И, наверное, так и забылись бы слова Данила, но тот мужчина неожиданно на следующее утро умер.

На похоронах, когда, поговорив обо всем на свете, люди вновь вернулись к неожиданной смерти покойного, в одной из групп мужчин вдруг вспомнили слова Данила.

К вечеру ошеломляющая молва облетела все дома района. Эту новость стали обглаживать, как кость; и как бы между прочим была перевероршена Данилова жизнь, и люди уже просто не могли не найти в ней истоков такого предвидения. Данил стал обладателем редкого человеческого дара, и через некоторое время дали об этом знать и ему самому.

...Данил заканчивал свою первую лестницу, наставил последний гвоздь и размашистыми ударами вбил его в гладко обструганную рейку.

Лестница получилась аккуратной, с чуть сходящимися кверху вертикальными рейками. Данил приставил ее к стене небольшого аккуратно выбеленного дома, отошел на несколько шагов и, осматривая работу, забубнил какую-то восточную мелодию.

В середине уютного, чисто выметенного двора стояла плетеная табуретка. Данил сел на нее, устало сложил на коленях матовые с добрыми морщинами, умные руки.

— Вот так, — сказал он и некоторое время долгим, точно убегающим, в воспоминания взглядом смотрел на лестницу.

Задумавшись, он не заметил, как к сетчатому забору подошел сосед — добродушный, напоминающий пивную бочку Илогум.

— Что задумался? — спросил он.

Данил обернулся на его густой, низкий голос и, улыбнувшись темными глубокими глазами, ответил:

— А-а, это ты. Да вот — глаза дорогу стелют. Наверное, сын с внуком приедет.

— Ну, раз ты говоришь, значит приедет. Твое сердце не обманывает.

— Понимаешь, не столько по сыну соскучился, сколько по внуку.

— Внуки слаще. Это ты мастерил? — спросил Илогум, показав на лестницу.

— Да, вот, думаю, делать нечего, а в сарае реек полно. Чего им зря пропадать? Решил лестницы сделать. Штук семь. Одну себе оставляю, остальные соседям отдам. Вот — первая. Пусть она будет тебе, возьми. — Данил поднялся и перенес лестницу к калитке в заборе, разделявшей его двор с илогумовским.

— Это дело надо обмыть, — сказал Илогум, взяв подарок Данила.

— Успеется.

— Всем лестницам лестница, — похвалил Илогум.

— Знаешь, вот делаю лестницу и жизнь вспоминаю. Лестницы на жизнь похожи...

...Через две недели Данил заканчивал свою седьмую лестницу. Шесть других уже стояли в шести соседских дворах. Весело, трумкая какой-то солдатский марш, Данил подгонял верхнюю рейку.

Жизнь в эти дни шла бодрая: от ясных солнечных дней, от того, что приехал в отпуск сын и — главное — привез к Данилу любимого внука — Тимурку.

— Дядя Данил! — услышал он ласковый оклик.

К решетчатому забору подошла дочь Илогума Ида.

— Дядя Данил, пирожки уже готовы. Мама говорит, что вы их очень любите. Мы ждем вас. И тете Раисе скажите, — не забыла Ида пригласить и даниловскую старушку.

— Не беспокойся, душа моя, — ответил он, — хотя я только недавно ел, но твои пирожки с удовольствием попробую. Сейчас вот забью последнюю рейку и приду. А то из-за мелочи возвращаться к работе — знаешь как неохота. Да еще после такого лакомства, как пирожки с луком.

— Хорошо, дядя Данил, мы ждем и вас и тетю Раису.

— Иди, доченька, я сейчас.

Данил весело забубнил какую-то песню, вколотил последний гвоздь и приставил лестницу к стене.

«Красивая получилась, — подумал он, отошел на несколько шагов и снова любовался. — А ну-ка, попробую, — решил он, поставил ногу и надавил на нижнюю перекладину, потом взялся повыше руками и, точно старый упитанный кот, перебирая ногами и руками, стал подниматься. — Отличная работа», — погордился Данил, но вдруг затрещала и, скрипнув, треснула под ногой перекладина.

— А-а-а! — вскрикнул Данил, успев вцепиться в какую-то рейку руками, и с грохотом упал на асфальт.

— Что случилось?! — выбежала на крик Раиса и, увидев накрытого лестницей мужа, надрывно закричала:

— У-е-е! У-е-е! Убился! Убился!

На ее крик сбежались Илогум, его жена Эрув и Ида.

Илогум высвободил Данила из лестницы, приподнял за плечи.

— Как же ты так? — спросил он. — Ничего не сломал?

Данил пошевелил ногами, руками, оперся ладонями об асфальт и, увидев наклонившееся над ним тревожное лицо Иды, улыбнулся:

— Ты не волнуйся, дочка. Целый.

Илогум помог ему подняться. Держась за поясницу, Данил прохромал пару шагов и с усмешкой проговорил:

— Вот так и жизнь...

Илогум посмотрел на лестницу, потом на Данила, подпиравшего поясницу, запрокинул голову и раскатисто рассмеялся.

— Да-а, ко всему прочему в конце и смешно. Э-хэ-хэ,— улыбаясь закивал головой Данил.

— Это дело не обмыть нельзя! — потряс Илогум ладонью. — Эй, женщины, несите сюда пирожки.

В несколько мгновений у стены дома стал небольшой столик с поджаренными сочными пирогами.

— Пью за старую, крепкую гвардию,— поднял Илогум первый тост.— Дорогой Данил, если бы ты упал и с высоты самой высокой пожарной лестницы, все равно помялся бы не ты, а асфальт. За твое здоровье, Данил! Да прожить тебе сто лет!

— Спасибо, брат мой. Э-хэ-хэ. И жизнь у человека — не жизнь, а как эта сучковатая

лестница. Когда я умру, у меня к вам одна просьба: выносите меня не ногами, а головой.

— Что ты говоришь! В самом конце удивить всех хочешь,— хитро прищурила Ранса светлые старушечьи глаза.

— Ладно. Ты права. Ну, ладно. За ваше здоровье,— Данил поднял рюмку и уже хотел выпить, но вдруг, подумав о чем-то, поставил ее на стол.

— Ты что? — удивился Илогум.

— Если моя лестница с сучком оказалась, значит, и другие могли быть с сучком. Если я свалился, то и другие могли свалиться. А вдруг кто-нибудь плохо свалится?.. Вы сидите, а я сейчас приду,— сказал Данил.— Илогум, начнем проверять с твоей лестницы. Где она у тебя лежит?

— Да не беспокойся, Данил, я ею не пользуюсь. Как сувенир берегу.

— А у тебя еще есть?

— Нет.

— Значит, не сувенир.

— Ладно, пойдем вместе,— поднялся Илогум, и они прошли к его сараю.

Илогум вынес лестницу и поставил перед собой.

— Положи, пожалуйста,— попросил Данил.— Чтоб рейки наверху были.

Улыбаясь, Илогум положил лестницу у ног старика.

Данил осмотрел и прощупал каждую рейку, для большей достоверности стал на первую и сделал несколько прыжков. Потом он посмотрел на Илогума и, точно прикинув на глаз его вес, попросил:

— Да не быть в твоей жизни тяготам, я

тебя очень прошу — попрыгай. Ты тяжелее.

— Ну и беспокойный же ты, — сказал Илогум и, смешно трясая большим животом, попрыгал на каждой рейке.

— Спасибо. Выдержит, — сказал Данил.

Илогум отнес лестницу в сарай.

— Теперь пошли к Николаю, — сказал Данил.

Николай, человек с маленькими быстрыми глазами на круглом лице, был такого же телосложения, как Илогум. Выйдя из дома на оклик Данила, он вскинул ладони и бодро поприветствовал:

— Благословен приход ваш!

— Как дела, брат мой? — спросил Николай у шедшего впереди Данила.

— Не знаю, — пожал его руку Данил.

Николай не удивился такому ответу. Он, да и все жители района знали, что иногда на вопрос: как дела? Данил шутливо отвечал: не знаю.

Кто-то однажды спросил у него:

— Данил, почему ты так говоришь? Ты ведь все знаешь?

— А я, как и все люди: про всех и про все знаю, но как у самого дела — не знаю. Да и потом, иногда ты думаешь, что дела неважные, а другой завидует. Или наоборот, — думаешь все хорошо, а оказывается — нет. Прото, какие дела у тебя сегодня, можно узнать только о-ох когда, — полушуткой ответил Данил.

И никто за все время на свой вопрос: «Как дела, Данил?» не слышал: «Хорошо». По обыкновению он отвечал: «Как всегда, живем» или еще как-нибудь...

Лестница Николая стояла сзади дома. Данил осмотрел ее так же, как илогумовскую, и попросил Николая попрыгать на рейках. Тот добросовестно потряс грузноватое тело на каждой рейке и, закончив испытание, дыша чаще, чем обычно, заверил: крепкая.

Вскоре опробовали остальные лестницы. Те тоже оказались прочными.

— Ну вот, теперь спокоен? — на обратном пути спросил Илогум.

Они вошли во двор. Сидя за столиком, о чем-то говорили Раиса, Эрув и Ида. Пирожки на блюде были плотно накрыты большой тарелкой.

— Ну и как дела? — спросила Раиса.

— Хо-ро-шо,— врасстяжку ответил Данил.

— Вы слышали? Не может быть. Как это ты вдруг ответил «хорошо»?

— Хорошо.

— Такое дело людям не сказать нельзя,— подшутила над стариком Раиса.

И действительно, скоро об ответе Данила говорили многие люди. И к этому добавляли еще, что в тот самый день маленький внук Данила привел своих друзей, и Данил сыграл на трубе. Правда, у него получалось не так, как в молодости, но зато люди с улыбкой говорили:

— Сыграл Данил. И на вопрос о делах ответил: «хорошо».

И у очень многих от этой новости веселее шли дела. Не от того, конечно, что люди были суеверны. Нет. Просто нравится людям верить в хорошее. А иначе же как жить-то нам, человекам, в этой единственной, прекрасной и всякой другой жизни.

ДУША В ДУШУ

— Миша, принеси два мешка муки. А потом можешь идти получать деньги — и домой, — молодая завмаг протянула связку ключей и весело подмигнула.

Миша вышел из магазина, развернул стоявшую рядом тележку и покатил ее к складу. Большие замки склада хорошо видны с улицы, и, прежде чем открыть их, он смотрит на прохожих, слегка откидывает назад голову, и что-то гордое приподнимается в нем: прохожие ведь не знают, что он обыкновенный рабочий магазина, и поэтому должны думать о Мише как о начальнике. И он дольше возится с большими замками, связкой ключей и уже сам верит в свою особую причастность ко всему этому, а значит, и к еще более важному...

— Все могут короли! — напевает Миша, возвращаясь к магазину. — Душа в душу, — думает он о предстоящей зарплате — своих постоянных 90 рубчиках, и прохожие кажутся родственниками, которых он давно не видел.

Перетаскав мешки, Миша вручает ключи завмагу и, словно шелуху семечек, небрежно выплевывает:

— Все в порядке.

— Ты молодец, Миша, — рука молодой заведующей легла на его плечо и он на секунду замер, чувствуя упругую тяжесть прильнувшую к нему. В голове запрыгало много добрых слов, и Миша растроганно подумал, что за свои тридцать с лишним лет он еще не видел такого «душа в душу» начальника.

Когда Миша получил зарплату и пришел домой, было самое «пивное» время.

— На,— протянул он жене деньги,— ни копейки не потратил.

Шелест девяти красных бумажек наполнял его какой-то силой.

— Дай мне два рубля,— повертевшись возле жены, протянул он руку.

— Зачем? Пить будешь?

— Да я пиво,— Миша вскинул руку.

— И рубля хватит,— жена полезла в карман халата.

— Ну еще хоть немного мелочи дай.

— Иди, иди.

— Ну что, я не имею права, что ли? Я сегодня зарплату получил,— прозвенел Мишин голос.

— На, на! — жена сунула в его ладонь монеты. По дороге Миша посчитал деньги. Кроме как на бутылку, выходило еще и на одну кружку пива. Небогато, но Миша представил наполненный красный стакан и веселее заспешил к пивной. И было самое «пивное» время. Мишины рубль с мелочью в кармане его многоцветных помятых брюк не давали покоя. Он выискал какого-то замусоленного пьянчужку и потащил его за собой к магазину.

— Угощаю. «Замочим» по стаканчику,— мигнул он.

Мужичок, словно ему сейчас должны были дать кошелек с деньгами, оживился... Пили по полстакана, после второго Мише захотелось петь:

— Все могут короли!

— Братуха, пойдем пиво пить. У меня на

кружку есть, — Миша схватил замусоленного мужичка за плечо, и они пошли к пивной.

— Здорово, братишка, — приветствовал он встречаемых. В этом районе города все хорошо знали друг друга. А каждый о другом больше, чем о себе.

— Душа в душу, — снова встретили Мишу у пивной. Он кому-то отдал деньги и через минуту втягивал в себя успокаивающие, разливавшие по телу прохладу глотки пива.

— А ну-ка спой что-нибудь, Миша, — крикнул моложе него лет на десять парень.

— Спеть, так спеть. С удовольствием...

Миша поднял руку с бокалом, выпятил грудь, которая стала похожа на узкий выгнутый фанерный лист, и тонко **вытянул**:

— А-а-а-а.

Потом потрянул черными с сединою кучеряшками, резанул свободной рукой воздух, наклонил к кому-то плечо и затопал внутри образовавшегося круга.

— Жил да был. Жил да был. Жил да был один король...

Миша изредка останавливался, поднимал кверху руку и нараспев провозглашал:

— Все могут короли!

С выползшей из брюк рубашкой, тонкий, он казался двадцатилетним парнем. А к пивной подкатывали, уносились и снова подъезжали машины...

Мишу угостили. Вытягивая пиво из второй кружки, поблескивая кнопками глаз, он «крутил свою философию».

— Жизнь — это душа в душу. Мене денег не надо, — отвечал он кому-то.

— И миллиона ты не хочешь? — насмешливо спросил Мишин ровесник.

— Мне миллион не надо, он душу портит, — Миша с удовольствием выжидал, что ему скажут.

— Уть, Миша, ты гений.

— Я гипноз. Я все знаю.

— А почему твоя жена в два раза толще тебя? Работаешь здорово, да, Миша?

Круг заколыхался от смеха.

— Миша, а что такое любовь?

— Это душа в душу. Ты этого не поймешь. Я знаю: ты сегодня думаешь, что бы и где стянуть завтра. А я нет. У меня моя душа, — Миша похлопал по груди, — моя душа со мной — душа в душу.

Подошли еще двое. Их он знает с детства. Эти двое, вроде друзья — пузатый и другой — со стеклянным глазом.

— О, как дела, Миша? — спросил Вадим — так звали толстого.

— Сто лет тебе жить, брат мой!

— Миша говорит, что ему миллион не нужен, — кто-то захотел продолжить прерванный разговор.

— А зачем ему деньги. Он же на складе работает. У него там сахар, мука, лимонад, — сказал Вадим, вскинув руку. Миша повел взглядом по лицам. Жирные и тощие — они кривились, расплзались в довольных улыбках. Мише показалось, что его загнали, одного, в какой-то лес.

— Братишка, ты смеешься надо мной? — Миша подошел к пузатому. — Ты надо мной не смейся. Я никого не обижал.

— Да что ты. Пусть тот дня не проживет, кто над тобой смеется. Ты ж артист.

— Пх-х-х,— стеклянноглазый хохотнул в бокал.

— Это вы артисты, не я. Я гипноз. Я все про вас знаю. Думаете, если у вас машины, другие ничего не понимают. Думаете, если вы шикаете, то все?.. — Миша вскинул голову.

Вдруг толстые пальцы рванули его за ворот. Он попробовал освободиться, но в следующее мгновение плюхнулся лицом в землю.

Миша медленно встал. Не слыша протяжных, откуда-то взявшихся женских криков, размазывая по лицу что-то теплое, видел выпученные глаза пузатого и чьи-то руки, удерживавшие его. Миша мог бы сейчас кинуться, расковырять эту вздувшуюся морду, но что-то мирное вползло в него.

— Ничего,— прохрипел он.— Душа в душу,—он соединил над собой вскинутые ладони и медленно пошел от пивной. На другой стороне улицы его остановили крики. Он повернулся. На том месте, где только лежал он, барахтались два человека. Миша узнал пузатого и пришедшего с ним стеклянноглазого.

Миша еще раз провел рукой по лицу, посмотрел на свою красную ладонь и снова услышал свой голос:

— Ничего.

Почему-то ему было очень спокойно, и не было никакой обиды и злости.

«Чего обижаться на людей, они сами себя обижают»,—плыла тихая мысль. Повернувшись, Миша пошел по улице.

Был теплый нешумный вечер с улыбающимся большим лицом луны. Миша протягивал к

луне руки и казалось: она слышит песню и ей хочется, чтобы он пел.

Прохожие поворачивались в его сторону, но он не видел покачиваний их голов и улыбок. Миша видел своих детей и жену, важные замки склада. Он просто и прочно шел ко всему этому, а лица тех — пузатого и других с их завтрашними неполадками—унесли куда-то вдаль, исчезли, а он шел, приветствуя встречающих:

— Душа в душу!

ВЫБОР

Хаскиль посмотрел в небольшое окно. Двор был пуст. Он поднял стул и двумя руками вынес его из дома. Хаскиль осмотрел двор и поставил стул под окнами дома. Здесь была тень и, одновременно, грело солнце. Хаскиль сел, облокотился о спинку стула и прикрыл глаза. Ленивое тепло скользнуло к векам и стало растекаться по всему телу. Сейчас ему было хорошо, но вспомнилось почему-то недавнее раннее утро.

А было так. Неплотно сдвинутые шторы казались проемом дверей двух смежных комнат. Одной огромной там — за окном, другой здесь. В обеих жило раннее утро. Только за окном оно было светлей и уверенней, а в этих стенах еще чувствовалось беспокойство прошедшей ночи.

Хаскиль посмотрел на будильник. Начало шестого. В открытую форточку юркнул ветерок и заколыхал шторы. Они показались ему прозрачными сетями, в которых подрагивало

что-то легкое и невидимое. Это напомнило ему детство. Хаскиль с друзьями на маленькой речке. Их трое. Двое быстро ведут в воде растянутую сетку, а третий, впереди, вороочает шестом гальку дна. Они выводят сетку из воды и, увидев бьющуюся рыбку, радостно восклицают:

— Есть!

И сейчас снова утро. И шторы похожи на ту сетку, но нет прежней радости, чтобы просто сказать: есть. Есть новое утро, есть новое ожидание радости от идущей к тебе жизни. Теперь, когда он знал, сколько ему осталось, утра становились пытками...

...Хаскиль вздрогнул от звука открывшейся калитки. Это была Лие. Проходя мимо, она посмотрела на Хаскиля, и он понял ее немой вопрос. Лие теперь все же, наверное, жалела его — своего бывшего и единственного мужа. Жил с ней Хаскиль недолго — пять лет. Но за это время народили они троих детей. Потом появилась другая женщина. И он ушел к ней. Оставил всех троих детей и ушел. Один из сыновей умер в тяжелый год от голода. Сорок пять лет прошло с тех пор. А вот теперь его двое детей, уже имеющие внуков, узнали, что он умирает в другом городе, приехали и привезли его сюда, в бывший его дом. Но вчера он вдруг ясно понял: надо уезжать назад. Скорее, пока еще есть силы.

Не думал Хаскиль, что может так получиться. Последние месяцы, когда почувствовал «свой срок», стала жать его какая-то тоска. И стало тянуть его сюда, в этот двор. Чего он хотел? Чего ждал? Знал Хаскиль причину маяты своей. Прощение нужно было. Но за-

чем оно, зачем? Ведь не прибавляло оно ему ни дней, ни месяцев. И это знал Хаскиль, и все же хотел быть здесь.

И о другом думал Хаскиль. Ведь есть еще на земле и те люди, которые принесли несчастье и ему. И, может быть, стоит простить одному из них, тогда и Хаскилю простится если не все, то многое. Но случилось вчера другое.

А случилось так.

...Хаскиль вышел из переуллка и сразу увидел это длинное одноэтажное здание. Его можно было бы принять за вытянувшийся барак, если бы по обоим концам его не выступали над черепичной крышей вышки с часовыми и не вспарывали воздух несколько рядов колючей, над забором, проволоки. Это был не барак.

Здание уперлось в Хаскиля холодным взглядом решетчатых окон. Хаскиль опустил голову и пошел медленней.

Он подошел к широким ступеням, посмотрел на часы: пришел, как и намеревался, на пять минут позже. И теперь его, наверное, ждали. Хаскиль поднялся и потянул огромную ручку обитой железом двери. В приемной кроме Хаскиля никого не было. Молоденький сержант пошел к начальнику, и Хаскиль остался один в большой комнате. По всей ее длине стояли четыре ряда столов с длинными скамейками. Хаскиль хотел пройти в глубину комнаты, но посмотрел на дверь, в которой скрылся сержант, подошел к самой близкой скамье и медленно сел. Он с минуту смотрел на серость стен, сползающую к вытоптаным деревянным полам, и вдруг ему

стало казаться, что что-то тяжелое наваливается на его спину. Но Хаскиль не поднялся, так и остался сидеть спиной к двери.

Теперь ему снова все казалось нелепым и ненужным.

«А вдруг не поймет», — подумал он. И пожалел, что уговорил начальника тюрьмы разрешить встретиться с Ивилем.

Минут через двадцать раздался звук шагов. Сначала далеких, коридорно-гулких, потом, уже после взвизга открывшейся двери, неспешных и вопросительных. Хаскиль опустил ладони на колени и, словно ему было трудно повернуть тело, медленно повернул голову.

— Да, это я, — громко, расставляя слова, словно шахматные фигуры, сказал Хаскиль. Теперь он уже повернулся к Ивилю всем телом.

— Подожди, — остановил он хотевшего уйти Ивиля. — Не спеши. Может, последний раз видимся.

Ивиль вывел над плечом тяжелый подбородок и посмотрел на Хаскиля. Он помедлил еще, взглянул на сержанта и подошел к Хаскилю. Вместе с ними около Хаскиля остановился сержант.

— Десять минут разрешили, — сказал он. — Они сейчас на работе, — сержант кивнул в сторону Ивиля.

— Хорошо, спасибо, сынок, — ответил Хаскиль. Сержант отошел к дальнему окну.

— Чего хочешь? — Ивиль уколол взглядом. Хаскиль положил ладони на стол, и на исчерченном, грубом столе, ухоженные, гладкие, они показались безжизненными.

— Вот что, — начал Хаскиль, но смолк, про-

вел взглядом по черной с измятым воротником куртке и на секунду задержался на залоснившемся, когда-то, наверное, белом прямоугольном лоскутке с цифрой 5.

— Вот что,— продолжил Хаскиль,— тогда ты жестоко обошелся со мной, но что ж, сколько воды утекло уже. Лет шесть прошло, наверное. Теперь не хочу я помнить о том. Когда выйдешь отсюда, запомни: Хаскиль простил тебя.

Хаскиль увидел сверкнувшие глаза Ивиля, словно в них что-то неожиданно вспыхнуло и загорелось.

— Прощать при-и-ше-е-ол,— поднимавшимся голосом потянул Ивиль.— Там, на суде, нужно было прощать, когда от тебя зависело, сколько гудеть мне!

И вдруг, словно увидев что-то неожиданное, новое, осекся, замер и снова вытянул:

— Знаю, чего ты пришел. Вон какой у тебя цвет лица. Смерть почуял и приперся. Не нужно. Без тебя свос отбарабаню.

Хаскиль вздрогнул.

Но голос Ивиля рвался сильнее:

— Да я не жалею, что обчистил тогда тебя. Проща-а-ть пришел! А чем ты лучше меня? Что на тебе этой робы нет и что этого номера не таскаешь? Да ты такой же ворюга, как и я! Только хуже еще. Я ведь тяну лямку, а ты — нет. Ты вон сколько семье своей навредил, а другим семьям?! — Ивиль уже почти кричал.

— Заключенный номер пять! — хлестнул Ивиля громкий голос сержанта. Ивиль опустил голову и сгорбился.

— Мне бы уйти сейчас и не разговаривать

с тобой, мальчишкой. Но учти: и к тебе придет последний час, тогда ты вспомнишь о том, что жестоко обидел меня и во второй раз, что большое зло ты мне сделал,— сказал Хаскиль.

Ивиль вскинул голову.

— А ты не боишься? Ведь выйду, а потом — бац, и твоих детей обворую. А-а? Ты ведь меня простил, так и другой кто-нибудь простит.

Хаскиль отшатнулся и вдруг ясно услышал ту холодную мысль, которую он прятал от себя.

Лицо Ивиля стало куда-то уходить, но Хаскиль сжал ладонями лавку, увидел остановившиеся глаза Ивиля, тяжело поднялся и пошел к двери...

...Хаскиль почувствовал, как горит его голова. И только посмотрев в сторону, он увидел, что тень уже далеко ушла от его стула, и он, наверное, долго просидел под солнцем. Он поднялся и понес стул ко второму дому, стоявшему во дворе. Один — маленький был — Лис, а в этом, большом, со своими сыновьями и внукам жил старший сын Хаскиля.

Хаскиль поставил стул под одним из окон и в открытую форточку услышал тоненький плач.

— Тимка плачет,— сядь на стул, подумал Хаскиль,— мой правнук, — горечью окончилась мысль.

Правильно говорят люди: внуки слаще детей своих. А почему так? Наверное, живет в человеке неистрачиваемым запасом нежность. Отдаешь ее, но она снова, — словно не тронута. И требуется человеку отдавать и отдавать. Это можно сравнить только разве с

материнской грудью. Тут сама природа наливает ее нетерпеливой живительной упругостью. И если вдруг случается так, что некому вобрать в себя эту жизнь, она сгорает. Так и с нежностью. Так и с детьми и внуками. Мал человеческий век, но очень крохотное время дано, чтобы дети могли принимать нежность. Они взрослеют, уходят. Но человек еще не растратил и мизерной доли данной ему нежности, и тогда приходят внуки. Но и внуки взрослеют, тогда, если бог даст жизни, приходят правнуки. И у Хаскиля они есть. Но — чужой он все же для них. Хотя бы только потому, что не передали его имени внукам. Так и забудется его имя — Хаскиль. Хотя его никто в этом доме не обижает, не упрекает, чувствует он отчужденность. И теперь ему уже никогда не разорвать этой завесы.

А из комнаты все еще слышался Тимкин плач.

— Пойду посмотрю,— решил Хаскиль. Он зашел в комнату и увидел стоявшего лицом в угол правнука. Напротив, на диване, сидела его мать, молодая красивая женщина. Она привстала навстречу Хаскилю, предложила сесть, и раздраженно крикнула Тимке:

— Не три глаза! И не ной!

Тимка успокоился и, не поворачиваясь, протянул:

— Я больше не буду.

Хаскиль увидел, как женщина старается сдерживать улыбку, и понял: она специально задерживает ответ. Тогда, немного переждав, Тимка повернул измазанное лицо и спросил:

— Выходить?

Хаскиль рассмеялся с Тимкиной мамой и сквозь смех проговорил:

— И знает же этот двухлетний сорванец, что рано или поздно — простят!

Вдруг Хаскиль оборвал смех, вышел из дома, и перед ним встало случившееся после того, как он вернулся от Ивиля.

А так это было. Хаскиль открыл калитку и, стараясь никого не увидеть, прошел к домику Лие, где теперь его поселили. Он сел у стола в передней комнате и откинулся на спинку стула. Лие не было. Хаскиль вытянул ноги, они ныли. Болело сердце.

«Надо выпить лекарство, вымыть ноги и лечь», — подумал Хаскиль. Он расстегнул рубашку, снял туфли и носки. Зашла Лие, мельком взглянула на Хаскиля и прошла во вторую комнату.

— Постели, — сказал Хаскиль ей в спину. Она остановилась и спросила:

— Чаю налить?

— Нет, — ответил он быстро.

Лие пожала плечами.

— Вот ты сейчас и постелишь мне, — думал Хаскиль, слыша хлопки взбиваемых подушек, — и чай нальешь, если захочу. Стоит только захотеть. Захотеть.

— Лие, — позвал Хаскиль.

Она подошла.

— Ноги болят. Помоги помыть.

Хаскиль увидел усталые, ставшие от этого безразличными, глаза. Лие ничего не сказала. Возвратилась она с тазом, наполовину наполненным водой, поставила его у ног Хаскиля.

А зверек тот все больше метался в голове Хаскиля, становясь злее и злее. Хаскиль рез-

ко сунул ноги в воду, выплеснув ее на пол. Лие вернулась. Затем принесла полотенце, кусок мыла и старинный, отливавший серебром кувшин. Поставила кувшин, перебросила полотенце через плечо, наклонилась. Хаскиль увидел белые, аккуратно уложенные на затылке волосы, руки, которые на секунду застыли над тазом, а потом вошли в воду.

Он хотел что-то крикнуть, но из горла вырвался какой-то хрип. Хаскиль ударил ступней по тазу, вода брызнула Лие в лицо. Она отшатнулась, выпрямилась и, не вытирая стекавшую с лица воду, смотрела на Хаскиля. Он завалился на спинку стула и только смог крикнуть:

— Уйди! Уйди! Мне ничего не надо! Не на-до!...

...Хаскиль ходил по двору и снова говорил себе: уезжать надо, поскорее, пока не поздно. Дорога займет часа три, и он успеет добраться до своего города, дома. Но знал Хаскиль и другое: если уедет он, по этому маленькому городку разнесется слух, что Хаскиля выгнали.

Не дали старику, — скажут люди, — умереть в своем доме. Хаскиль представлял множество шепчущихся за спинами его детей лиц и понял: теперь он ни разу не сможет подумать о своем отъезде.

Умер Хаскиль на следующее утро.

...Тело Хаскиля стало **вздрагивать** из-за неудержимо вбиравшегося **холода**. Он позвал сына и успел прошептать:

— Я хотел...

Но договорить он не смог, **хотя** губы его, **похожие на жухлые, свернувшиеся листья**, продолжали шевелиться.

Тихая волна подняла и понесла Хаскиля. Он увидел какую-то комнату с огромным диваном. На нем сидело много людей. Он повернул к ним свое почерневшее лицо, и люди, протягивая к нему руки, стали смеяться. Из открывшегося рта Хаскиля вырвался и потянулся долгий крик:

— Выходить?! Выходить?!

Люди смеялись, тянули его за руки, Хаскиль хотел сделать шаг, но, словно приросшие к полу, ноги не слушались его...

СТАРЫЕ КАРТИНКИ

**История о том,
что всем в этом мире, увы,
не угодишь**

Однажды случилось так, что не успели Бэбэ и Бирор возвратиться к вечеру в Нальчик. Уже поблескивали в ночном небе холодные ясные звезды, а арба друзей еще только въезжала в далекое от города село. И лишь тускло мерцающие огоньки домов, да дружный, отчетливо разносившийся в ночи лай собак встречали гроыхающую по сельской дороге арбу друзей. Но на душе у них было спокойно и тепло, ибо знали Бэбэ и Бирор, что горцы — народ гостеприимный и всегда рады хорошим людям.

— Ты здесь кого-нибудь знаешь? — спросил Бирор.

— В лицо, может, да, а так — нет.

— Тогда давай попросимся к ним; — показал Бирор на светившееся по правую руку

окно дома; потянул вожжи, и верный друг Хар, которому не терпелось поскорее добраться до порции сена, почуяв, что они уже у цели, послушно повернул и остановился у плетеного забора.

Звяканье цепи и матерый лай рвались в сторону арбы.

Бирор несколько раз крикнул хозяина, но голос его был заглушен лаем пса.

Скоро со двора слышался мужской окрик, собака повиновалась ему, и лай сменился ослабленным звуком волочащейся по земле цепи.

— Кто это в такой час? — приблизился голос.

— Свои, — ответил Бирор.

После недолгих переговоров арба друзей въехала во двор. Хар нашел пристанище, сено и на ночь простился со своими друзьями.

При свете лампы, сидя за низеньким столиком, наблюдали Бэбэ и Бирор за горбоносым, широкоплечим стариком.

— Извините меня, дети мои, — говорил он. — Вы так поздно, что приготовить вам что-нибудь получше я не могу.

— Что ты, отец, это ты извини нас за беспокойство! — воскликнул Бирор.

Старик положил на стол три лакума и три яйца, поставил стаканы, рядом с табуреткой чайник и сел к друзьям.

— В Нальчике живет один такой Амирбек. Может, слышали что о нем? — спросил он, сцепив грубые, толстокожие пальцы.

Друзья удивленно переглянулись, и быстро шепнул на своем языке Бэбэ:

— Кажется, он моего отца имеет в виду. В селениях его так и называют. Но только не говори, что этой мой отец. Вдруг что-нибудь такое... Уж лучше пусть он не знает.

Бирор легким кивком головы дал знать, что это останется тайной до самой могилы, и сказал:

— А как же. Знаем Амирбека. Это мой отец.

— О, какая встреча! Сынок, дорогой, как ты вырос! Ты, наверное, меня не помнишь? Я не один раз бывал в доме твоего отца, моего друга и брата Амирбека! — воскликнул растроганно старик и поспешил прижать щеку Бирора к своей колючей бороде. Пришлось Бирору рассказать все последние новости о жизни отца Бэбэ.

— Да, я горжусь своим отцом! — закончил он, специально обращаясь уже не к старику, а к Бэбэ, и еле сдержал смех, увидев в тусклом свете лампы потускневшее лицо друга. А когда счастливый старик придвинул Бирору из трех лакумов и трех яиц по два, лицо Бэбэ скисло совсем.

А радость старика не уменьшалась. Он принес откуда-то бутылку самогона и выпил с Бирором почти по полному стакану.

В довершение всего Бирору была постелена с высокими перинами и белоснежными простынями постель, и, опершись о локоть, гордо, по-хански, взирал он со своей высоты на приютившегося на тахте Бэбэ.

Утром, когда арба друзей весело тряслась по дороге, уходящей из села, Бирор, хитро щурив глаза, почесал переносицу и, словно невзначай, сказал уставшему Бэбэ:

— Да-а-а, я никогда в жизни не был благодарен так твоему родному отцу Амирбеку, благодаря которому мне так сладко привелось провести ночь в пуховой постели.

— Ничего,— мстительно проворчал Бэбэ.— Моего отца знают не только в этом селении.

И сбылись слова Бэбэ.

Через несколько дней снова застала их ночь на краю одного села. И в этот раз получили ночлег Бэбэ и Бирор. А когда на стол была поставлена еда, Бэбэ с многозначительной усмешкой посмотрел на Бирора и сказал хозяину:

— Вы может быть слышали о таком Амирбеке из Нальчика. Так это мой отец.

Победно сверкнули в тусклом свете лампы его глаза, но через некоторое мгновение потухли они, ибо встретились с хмуро пронесшимся взглядом хозяина, который, многозначительно сказав: «Слышали, слышали мы о таком», почти всю еду подвинул к Бирору. А кроме этого, и на этот раз уплыла от Бэбэ мягкая чистая постель...

Утром, когда арба друзей весело тряслась по уходящей из села дороге, увидев усталые, прикрытые веки друга, Бирор обнял одной рукой его за плечи и, рассмеявшись, сказал:

— Не расстраивайся, брат мой. Просто в этом мире всем не угодишь.



**История о том,
что и осел не всегда осел,
а если уж он ваш друг, в том он не виноват**

Всему на свете приходит конец. Так случилось и с Бэбэ и Бирором: уговорили их все же жениться.

Первым сдался Бэбэ. А что оставалось в этом случае Бирору? Только поддержать друга.

Раз мужчина дал слово — надо выполнить. И стали в домах Бэбэ и Бирора готовиться к свадьбам.

Ну, раз свадьба, своя семья, решили друзья поделить меж собой все заработанное в честных трудах. С деньгами было просто: копейка — тебе, копейка — мне; две — тебе, две — мне. И все дела. Сложнее оказалось с ослом Харом. Сначала решили Бэбэ и Бирор продать его. И на базар привели, и хороший покупатель отыскался, и уже деньги в кармане были. Но когда рука покупателя взяла узду и повела осла, ослабели сердца Бэбэ и Бирора, словно по их вине уходил в последний путь лучший товарищ. А как быть? Ведь пять минут назад они так расхваливали Хара, что в глазах покупателя он стал выглядеть чуть ли не аэропланом. Какой же осел вернет назад такого осла?

— Брат мой, подожди! — вдруг крикнул Бирор. — Подожди! Не торопись!

Подбежали Бирор и Бэбэ к покупателю, и, брезгливо ткнув пальцем ослу в ухо, затараторил Бирор:

— Посмотри, брат мой, какие у него уши, ну разве у нормальных ослов такие бывают?

А морда? Длинная, как у нашего друга Шима. А Шим совсем ненормальный. Если бы ты знал, какая у него жена. В дом к нему не войди. Вина не выпей. Если бы хоть сама что-нибудь представляла, а то... страшно сказать. Лучше не скажу, а то приснится, и не то что осла, вообще пропадет охота покупать что-нибудь. И как только Шим живет с ней? Высох бедняга весь. Во какой стал,— Бирор вскинул суковатый палец.— Понял? Ты его если увидишь — сразу узнаешь. Так он завтра и горбатым станет и кричать как тот Хар будет. Так что не достоин этот старый баран служить такому уважаемому хозяину, как ты. Возьми свои деньги. На свете ослы пока еще есть. Найдешь себе.

Бирор быстро сунул в руку растроганного покупателя деньги, взял узду и повел Хара за собой.

— Ну что будем делать? — спросил Бирор, когда позади остались базарный шум и толкотня.

— Не знаю. Дойдем сначала до дома, а там посмотрим...

Цокают о булыжную мостовую копыта Хара, и идут, свесив головы, Бэбэ и Бирор. Скоро показался знакомый угловой дом. Свернешь — и через несколько шагов дом Бэбэ, а пройдешь чуть дальше и свернешь еще раз — там улица Бирора.

В переулке, у деревянных скосившихся ворот заметил Хар траву и, точно больше ничего и никого на свете не было, затрусил к ней.

— И зачем мы его не продали? — огорчился Бэбэ такой непочтительности Хара.

— Кто может предугадать поступки осла? — оправдался Бирор.

— Ну что ж мы теперь с ним будем делать? И продавать жалко. И просто так отдать тоже жалко.

Бирор развел руками.

— Пстой, — вдруг обрадованно сказал он. — Ты прав: и продавать жалко, и отдавать жалко. Пусть он останется у кого-нибудь из нас. Вот смотри: живет он у тебя. Допустим, соскучился я по тебе, прихожу, смотрю на Хара, и его один только вид мне сразу напоминает обо всех наших приключениях. А-а?

— Пусть — тебе осел родней будет, — обиженно прогудел Бэбэ.

— Ну ладно, хорошо, пусть мне. Но что ты об этом думаешь?

Бэбэ несколько секунд смотрел на чамкающие губы Хара и сказал:

— Правильно. А останется он пусть тебе.

— Ты что? Так не пойдет. Надо честно. Я придумал. Давай по очереди будем звать его. На чей голос придет — у того и будет жить Хар. А-а?

Бэбэ почесал в тяжелом затылке и сказал:

— Правильно придумал. Начинай.

— Нст. Ты старше меня, ты и начинай. А то я позову, а он возьмет и придет. Мне неудобно будет. Зови первым.

— В том-то и дело, что старший. А вдруг, я позову, и он ко мне придет? Что тогда люди скажут, а-а? Скажут, что младшего друга, брата обидел. Нет, говори первым ты.

— Ни за что. Пусть моя свадьба не состоится, если я тебя обижу.

— А моя что — хуже? — Бэбэ хитро показывал толстым волосатым пальцем.

— Не хуже...

— Нет,— говорил Бэбэ.

— Ты,— отвечая Бирор.

— Ни за что в жизни! — сопротивлялся Бэбэ.

— Ты! — наступал Бирор.

— Что б я обидел тебя? Ты что! Помнишь, как ты меня спас, когда я чуть не утонул? Ты что?

— А ты забыл, как благодаря тебе моя голова целой осталась? Если б ты не вмешался... Эх, чтоб тогда без меня моя мать делала? — растроганно сказал Бирор. — Да-а-а. Не буду, конечно, обманывать, не скажу, что она тебя больше любит, чем меня, но, клянусь, не меньше. Слышишь, Бэбэ, пойдем к нам. Мать обрадуется. Посидим. Выпьем по стаканчику. Пошли, а?

— Ну что ты? Конечно, пойдем, — растрогался и Бэбэ.

В глубине двора, под тутовым деревом, на тахте сидела мать Бирора и что-то шила.

— О-о. Женихи пришли. Радостен приход твой, Бэбэ,— поднялась она навстречу друзьям.— Проходи, Бэбэ. проходи. Какие вести из вашего дома?

— Живем! — весело прогудел Бэбэ, чувствующий себя в доме друга, как в своем...

После второго стакана Бэбэ фыркнул и потряс головой.

— Не быть моему отцу в трауре, точно как наш Хар,— загоготал Бирор и, вдруг оборвав смех, посмотрел на Бэбэ и увидел, что и его глаза настороженно напряглись.

— Подожди,— продолжая медленно жевать, сказал Бэбэ,— а наш Хар ведь там остался?!

— А-а. Не переживай. Его весь город знает. Если заблудится, кто-нибудь да и привсдет. Но только это не такой осел, чтоб заблудиться.

— Нет, подожди. Нельзя так. Заблудиться не заблудится, но что люди скажут?

— А что они могут сказать: бедные Бэбэ и Бирор — совсем замучил их этот ишак.

— Нет. Мы с тобой уже взрослые люди, Бирор. Пошли.

— Куда же, не поевши? — всплеснула руками мать, увидев встающих из-за стола друзей. Бэбэ посмотрел на друга растерянными большими глазами..

— Да мы скоро. Только сейчас вспомнили, что одного товарища найти надо, — виновато ответил Бирор.

За поворотом остолбснели: Хара не было видно.

— Говорил же тебе,— прогудел Бэбэ.

— Да стой ты,— озирался по сторонам Бирор.

— Стой не стой, а теперь на Хара не сядешь,— проворчал Бэбэ и медленно пошел к скривившемуся забору, у которого бедный Хар щипал зеленую травку.

— Тьфу,— остановился он вдруг: недалеко от забора, отгоняя хвостом мух, возлежал на боку Хар.

Бирор сорвал с тополя ветку, очистил ее от листьев и быстро пошел к нему.

— Это — тебе, осел, осла порождение,— стеганул он Хара.

Медленно поднялась серая, с желтоватомутными глазами голова, равнодушно осмотрела нависшие над ней злые лица Бэбэ и Бирора и снова завалилась на пыльную мостовую.

— А ну вставай, собачий сын,— еще больше разозлился Бирор и снова стегнул осла.

— Чего он хочет? — весело проходили знакомые.

— Как чего? Он у нас очень умный. Не видите, что ли. Вы, говорит, за день очень устали, отдыхать нужно, да и жара какая! — Бирор снова стегнул Хара.

Вдруг осел вскочил и, цокая копытами, легко затрусил по булыжной мостовой.

На жаркой улице, спрятавшись в тени дерева, сидели, рассуждая о делах, старики.

— Эй, что вы это делаете? — с улыбкой крикнул один из них бегущим за ослом Бэбэ и Бирору.

— Как что? Осла бегать учим. Скоро ослиные соревнования будут.

А отдохнувшего Хара, как ни пытались Бэбэ и Бирор,— остановить было невозможно, и он настойчиво кружил по одним и тем же улицам.

— Если ты не осел, то почему бежишь мимо одних и тех же людей?! — не выдержал и закричал ему вслед Бирор.

И вдруг, словно поняв слова Бирора, Хар свернул за первый поворот и, пробежав немного, остановился у старого тополя.

— Опять ему что-то взбрело на ум,— тяжело дыша, проговорил Бэбэ.

Хар повернул морду и вдруг во всю свою

ослиную силу, взхлеб заревел: «И-их-га-а, и-их-га-а».

— Молчи! — озираясь, крикнул Бирор и удивленно замер.

— Бэбэ, брат мой, посмотри, куда он нас притащил, — медленно проговорил он, кивнув на ворота, против которых они стояли.

— И вправду. Это ведь дом старика Казбека, — ответил Бэбэ, удивленно переводя взгляд с Хара на маленький саманный домик, в который частенько заходили Бэбэ и Бирор, чтоб отведать стакан-два самогончика. Но, подумав о чем-то, Бэбэ мрачно выпятил губы и, кивнув на Хара, произнес:

— Враг он нам. Знает, что через несколько дней свадьба — и решил спойть.

— Точно. Враг. Бить его надо, — замахнулся Бирор, но опустил руку и, уводя взгляд от Бэбэ, вздохнув, продолжил: — Враг-то он враг, но, мне показалось, старик Казбек заметил нас. Уйдем — обидится, а?

Бэбэ по привычке перед тем, как принять важное решение, почесал в своем тяжелом затылке.

— Да-а-а. Ну теперь что ж, раз заметил, то придется зайти, — мудро кивнул он несколько раз головой.

Через полчаса из двора старика Казбека, покачиваясь, в обнимку, вышли Бэбэ и Бирор. Бирор разводил рукой, поворачивал к себе друга и, стуча пальцем по его широкой груди, восхищался жизнью:

— Эх, какью, хоршью жысс челвеку бог придумал. Ла-а?

Бэбэ вбирал его в свои широкие объятия и чмокал в обе щеки.

— А за это мы не пили. Пшли,— вскидывал руку Бирор.

— Нет. Домой. Вишь,— качнул головой Бэбэ и показал на Хара.

— Вижу. Кажется мне, Хар привел еще одного. Вишь?

— А мы хотели продать. Как же так, Бирор?! Мы хотели продать. Разве мы люди? А?

— Ага. Ты на одного, я на другого. Пшли,— махнул Бирор рукой.

Они подошли к Хару с обеих сторон, попытались влезть, но стукнулись лбами и коленями.

— Бэбэ, убери своего осла,— попросил Бирор.— Он мешает.

— Сейчас мы проедем. — Бэбэ продвинулся к гриве Хара и закинул ногу.

— Вот теперь нормально,— Бирор влез на Хара сзади друга, и Хар, точно только этого и ждал, степенно пошел по мостовой.

...Бирор проснулся от чавкающего звука, словно кто-то около его уха в порванных башмаках переминался с ноги на ногу. Сначала он увидел морду Хара, что-то усердно пережевывающего, потом Бэбэ, лежавшего с ним рядом на тахте; осторожно откинул одеяло и заметил мгновенно открывшиеся глаза друга.

— Ты уже не спишь?

— Э-э-э,— потянулся Бэбэ.

Оба сели, посмотрели друг на друга — и в утренней свежей тишине покатылся по двору их смех. Из дома вышла мать Бэбэ, покачала головой и сказала:

— Что смеетесь? Хорошенькие же вы были

вчера. Если б не Хар, не знаю, как бы вы добрались. Сидим вечером, смотрим: открывается калитка и входит Хар, а на нем еще два Хара. Сами на осле еле держались, да еще и песни пели. Пришлось вас здесь во дворе и уложить.

— Ну, ничего, мы больше не будем,— оправдался Бэбэ перед матерью. А когда она отошла, Бирор посмотрел на друга, потом кивнул в сторону Хара, хитро почесал переносицу и сказал:

— Как ты думаешь, Бэбэ, а почему бы нам снова не купить арбу? А-а?

— Правильно говоришь, действительно, что он один... без арбы? А мы без дорог... Ну что, после свадьбы -- за арбой?

— За арбой.

ЩЕЛБАНЫ

На второй десятиминутной перемене Сашка бегал домой, успевал на ходу перекусить и приносил орехи.

Они были большие и вкусные, острые в концах, точно слепленные из двух лодок.

Сашка и сам был похож на крупный крепкий орех и считал себя самым сильным в своем четвертом «Б» классе. Впереди него, на третьей парте, сидел Семка — черноволосый с щуплым затылком.

В начале урока Сашка клал на передний край парты орех и тайком от учителя толкал Семку в плечо.

Не поворачивая спины, тот оглядывался и неизменно видел громадный орех.

Семка любил орехи, тем более к третьей перемене ему уже хотелось есть, а денег у него часто не было.

Не было их постоянно и у Семкиной матери. Потому что ее зарплаты на троих — на себя, Семку, его брата Лешку — обычно не хватало.

А отца у Семки не было. Вернее, прошло уже два года, как отец уехал к какой-то женщине.

Прозвенел звонок, вышел учитель, и класс стал похож на большую коробку с окнами и скачущими в ней бело-синими мячиками.

— Хочешь? — спросил Сашка, подбросив на ладони орех.

Вздохнув, Семка кивнул головой.

— Три щелбана, — поставил свое обычное условие Сашка.

Они вышли из класса, остановились в углу коридора.

— Давай, — вскинул подбородком Сашка и поднял руку.

Семка закрыл глаза и подставил лоб.

— Раз! — щелкнул Сашка и, попружинив рукой, точно желая усилить удар, щелкнул еще раз.

— Два!.. Три-и!

Семка почесал лоб и взял орех.

— Еще? — спросил Сашка.

Семка посмотрел на орех и, снова вздохнув, кивнул головой.

— Подставляй, — довольным голосом сказал Сашка и занес руку.

— Раз!.. Два!.. Три-и! — последний щелбан он старался нанести сильнее.

Семка забирал орех, а Сашка доставал другой:

— Еще?

— Последний, — соглашался Семка и, получив девятый щелбан, забирал третий орех, выходил из школы и, найдя камень, где-нибудь в стороне раскалывал орехи.

На соседней с Сашкиной парте сидела коротко стриженная, светловолосая Таня. Сашка любил ее.

И перед началом каждого урока, в те секунды, когда учитель проходил от двери к столу и разрешал садиться, Сашка брал Танину руку, и они так стояли, глядя вперед, перебирая теплые пальцы друг друга.

Однажды, когда Сашка в четвертый раз выменивал орехи на щелбаны, Таня заметила это.

— Как тебе не стыдно! — сказала она, когда Семка ушел. — Их и так отец бросил.

— Кого? — спросил Сашка.

— Семку, его маму и его брата.

В начале урока Сашка, как всегда, коснулся ее ладони, но Таня отдернула руку. Почти весь урок Сашка смотрел на Семкин затылок и заметил, что у него он какой-то щуплый.

На следующий день Сашка набил свой портфель орехами и яблоками и, дождавшись перед уроками Семку, сказал ему:

— Надо поговорить. Как мужчина с женщиной.

Они зашли в лестничный тупик.

— Ты на меня не обижайся, — попросил Сашка. — За орехи.

Семка отвел глаза.

Неожиданно Сашка присел на корточки и, подставив лоб, сказал:

— Бей! Двадцать щелбанов!

Семка растерянно смотрел на круглое Сашкино лицо.

— Как мужчину прошу! Бей!

Семка поставил портфель к ноге и, удивленно глядя на Сашку, замер.

— Бей же!

Семка занес руку над Сашкиным лбом и вlepил щелбан.

— Раз! — посчитал он.

— Сильнее! — Сашка зажмурил глаза.

— Два!

— Та-ак!

— Три-и!

— Во-от! — зажмуренное Сашкино лицо стало расплываться в улыбке.

— Четыре! — улыбнулся и Семка.

— Пять!

Сашка открыл глаза и, встретившись с веселым Семкиным взглядом, рассмеялся.

— Давай, — хохоча сказал он.

— Шесть! — щелкнул Семка по прыгающему от смеха Сашкиному лбу и рассмеялся сам.

— Сильней! — крикнул Сашка.

— Семь! Хватит, — хохоча, Семка держался за живот и, кажется, не смеялся так уже целых сто лет, с тех пор как папа ушел к другой женщине.

РАЗ! ДВА! ТРИ!

Белая «ноль одиннадцатая» шла по улице легко и величаво. Асой представлял со стороны сверкающую под солнцем свою машину и специально сегодня не давил на газ.

Именно сегодня: день приятный, теплый и — главное — впереди встреча с невестой. Сегодня они подадут заявление в загс. Он с Жанной и его друг Офтум со своей невестой. А сейчас они с Офтумом едут к своим будущим женам. Величаво идет машина, улыбается день и звучит в салоне музыка.

Асой посмотрел на друга. Важно, откинувшись на спинку сиденья, после долгой затяжки он медленно выводит руку в окно, легким и небрежным ударом пальца стряхивает пепел.

Казалось, будто не кто иной, а именно он, Офтум, только-только создал землю, воздух, человека и все остальное и теперь, осматривая свое создание, приходит к снисходительно-гордой мысли:

— Да, ничего лучше и не придумаешь.

Асой засмеялся сверхважному горбоносому профилю друга.

— Что увидел? — повернулся тот, готовый присоединиться к смеху, но, уловив в карих, чуть раскосых глазах Асою насмешливые искорки, насторожился.

— Ничего. Просто у тебя такой вид, что ограбить хочется, — ответил Асой.

— Молчи, салабон!

— Слава богу, что ты родился раньше всего на три дня, а не на четыре.

— Рули, рули. А то вместо двух пар сегодня в загс попадет одна,— добродушно пригрозил Офтум и легко ударил пальцами по брелку — пушистому зеленоглазому котенку, висевшему под зеркалом.

— Ты лучше скажи, почему эту кошку нацепил? И там,— усмехнулся Офтум и повернулся к заднему стеклу, в углах которого, кивая мордами в такт езды, полулежали два плюшевых рыжих кота.

— К хорошему это не приведет. Хоть бы одна. А тут — сразу три.

— Не ной. А то высажу, и ни в какой загс ты сегодня не попадешь.

— Не быть моему отцу по мне в трауре, но как время бежит. Кажется, совсем недавно я тебя из роддома на этих руках выносил. А потом танцевал и на радостях детишкам конфеты раздавал. А теперь смотри — жених. Сегодня вместе со мной в загс идет. Радуюсь я за тебя. Только старших уважать надо. Если бы я не нашел тебе невесту, не было б для тебя сегодняшнего дня.— Офтум покровительственно вскинул руку, потом нажал на кнопку магнитофона, переключил кассету, и в салоне зазвучала танцевальная кавказская мелодия.

— Так что спасибо мне скажи, что будешь на своей свадьбе пить.

— Еще до загса доехать надо.

— Доедем. И заявление подадим и вместе две свадьбы сыграем,— Офтум похлопал по плечу Асою.

Машина подходила к повороту. Асой снизил скорость. «Жигули» легко вынырнули из-за угла.

— Ну вот, почти и подъехали к твоей Жанне,— весело сказал Офтум и ткнул пальцем в стекло,— смотри!

На тротуаре чинно сидели три пса. Машина поравнялась с ними.

Вдруг Офтум высунул голову и зарычал:

— Р-рр, гавв!

Собаки угрожающе осклабились, но оставались на своих местах.

Тогда Офтум снова, но чуть злее, подразнил их.

Псы озлобились больше, но продолжали сидеть.

Офтуму это показалось обидным, он приоткрыл на ходу дверь и, словно царапая воздух растопыренными пальцами, загавкал и зарычал с большим усердием.

Псы не выдержали этого неожиданного оскорбления среди такого прекрасного весеннего дня, бешено сорвались с места и ринулись к дверце Офтума.

Он захлопнул ее и теперь, уже в окно, еще раз подразнил собак.

Подняв ожесточенный лай, они неслись за сверкающим, наполненным танцевальной музыкой «жигулёнком».

Асой сначала смсялся, но, заметив, что псы не отстают и, извергая бешеный лай, несутся с обеих сторон машины, озабоченно посерьезнел.

«Жигули» подъезжали к дому невесты Асои.

— Надо было тебе это? На руках держал... конфеты давал...— недовольно пробурчал он.

Машина остановилась, Асой выключил магнитофон, зажигание. Через несколько

мгновений у обеих дверей и впереди машины встали псы.

Асой и Офтум, словно сговорившись, быстро завращали ручками стеклоподъемника, закрыли окна.

— Ну что? Догавкался?! — раздраженно спросил Асой.

— А что я? — виновато посмотрел в сторону Офтум.

— А что-о? Выходи теперь.

— И выйду, — он щелкнул дверной ручкой, но, услышав убедительное рычание, прихлопнул дверь.

— Шумит, зараза, — вздохнул он. — Попробуй ты. Ты ж не дразнил. — Асой осторожно потянул ручку, но в ответ увидел зло обнажившиеся желтые, острые клинья зубов.

— Со-участник, — засмеялся и мгновенно виновато смолк Офтум. Некоторое время сидели молча.

— Может, напугать их, — рассеянно сказал Асой, достал из-под сиденья топорик, и пригрозил псу.

— Видишь!

— Уа-а-а, — вывела кверху морду и равнодушно зевнула собака.

— Эх, — решительно сказал Офтум, чуть приоткрыл окно и крикнул:

— Пошел.

Пес гавкнул.

— Молчи, — рванул за руку Офтума Асой и кивнул в сторону ворот, — Жанна услышит. Не дай бог, выйдет. Тогда что?.. Конфеты раздавал... В роддом ездил... Только барану придет в голову перед загсом собак дразнить. Умный так не сделает... Гр-рр...

— Давай вперед! — вдруг радостно воскликнул Офтум.

— Что вперед? Не видишь, что ли? — Асой показал на собаку, сидевшую перед машиной.

— Испугается! Убежит! Включай!

Асой включил зажигание, осторожно тронул машину. Прошли метр. Раздался лай. Асой резко выдал педаль тормоза.

— Не уходит. Задавлю так.

— Слушай, давай назад! — снова обрадовался Офтум.

— Там тоже сидит, наверное. Они не дураки.

— Стой, а разве их не три было?

— По-моему, три.

— А если четыре?

— Включай! Три! Это точно!

Асой включил зажигание, четвертую скорость, машина пошла назад, и снова раздался лай.

— Четыре! — затормозил Асой.

— Бедному жениться и ночь коротка.

— Давай еще! Может, эта не выдержит, — воодушевлял Офтум. — А может, она пролезет, как под танком?

Асой выжал сцепление, сдал назад, но снова раздался отрывистый лай.

— Не уходит.

Заглушили мотор.

— Хорошо, что дом у них не с улицы. Не дай бог, Жанна бы вышла. Эх, и достался же мне друг, — Асой посмотрел на часы. Неумолимо быстро совершала свои круги секундная стрелка.

Асой крутанул висящего под зеркалом ко-
тенка.

— Стой! — воскликнул Офтум. — Я придумал. Голова моя умная! — Он поцеловал сведенные вместе кончики пальцев и потом приложил их ко лбу, точно передал поцелуй своей голове.

— Может, не надо, — усмехнулся Асой.

— Ну хорошо, хорошо. Виноват я! Думаешь, мне самому в загс не хочется?! Еще как. И пойдем мы. Увидишь. Слушай. Скажи: любили когда-нибудь собаки кошек?

— Не морочь голову!

— Любили?.. Нет! А наоборот — тем более... Понял?

— Понял, что с тобой делать надо.

— Подожди. У нас остался один выход. Берем всех твоих кошек. — Офтум показал на брелок и на заднее стекло. — Показываем им. Собаки начинают злиться, а мы открываем окно и раз — выбрасываем. Собаки за кошками, а мы тоже хоп — и во двор.

— Да-да, во двор... Эти кошки, с магарычами, мне в сто рублей обошлись. Два дня их обмывали... Это тебя надо бы подальше...

— Тогда выбирай: или твои дохлые кошки, или невеста.

Асой представил Жанну в фате, белоснежном венчальном платье.

Рядом с ней на высоком табурете восседают три отливающих золотом кота. Жанна протягивает к Асою ладони, но он отводит их, бережно берет на руки котов.

Невеста в горечи и отчаянии срывает фату, обручальное кольцо, рыдая делает несколько быстрых шагов и вдруг отрывается от земли. Асой рассеянно отбрасывает котов, тянется

за Жанной, но поздно. Она взлетает в небо и растворяется в облаках...

— Давай! А если не клюнут? Видишь, какие умные.— махнул рукой Асой.

— Если уж собаки за кошками не побегут, тогда, считай, мир перевернулся.

— Давай. Черт с ними! — Офтум с удовольствием полез за кошками, одну передал Асою, сорвал брелок.

— Делай за мной! — приказал он другу. стал тыкать морды кошек в стекло и вдохновенно мяукать и рычать:

— Мя-у-у, мя-у-у, р-р-р,— замаякал за ним Асой.

— Ты что, не ел сегодня?! Громче давай! Мя-у-у! Еще жениться хочет! Смотри, как я,— громко сказал Офтум, грозно сдвинул брови и сильнее напряг голосовые связки.

Беспокойно оглядываясь на ворота, Асой стал рычать, и салон наполнился дикими звуками, словно это был какой-то кошачье-собачий питомник.

— Ага-а! Залаяла! Мя-у-у! — воодушевлялся все больше Офтум.— Давай, Асойчик, давай! — Первую собаку поддержали две остальные.

— Та-ак! Теперь я делаю три мя-у, на третьем открываем окна и выбрасываем котов? Мя-у. Понял?

— Давай.

— Мя-у, раз, мя-у два, мя-ав! — Быстро опустили окна и маленький пушистый котенок с двумя рыжими вылетел на дорогу. Собаки ринулись за ними. Мгновенно открылись дверцы машины и два молодых человека че-

рез секунду оказались за воротами. Захлопнулась калитка.

— Фу-ух! Что бы ты делал без меня?! — еще не отдышавшись, но уже важно выговорил Офтум.

— И где я только нашел тебя? — выдыхал Асой.

Отдыхались. Осмотрели друг друга. И вдруг рассмеялись.

— Р-р-р,— тыкал пальцем в Асою Офтум.

— Мя-у,— смеясь отвечал Асой. Друзья не заметили, как в глубине двора на пороге дома появилась темноволосая лет восемнадцати девушка — невеста Асои.

— У Офтума лучше получается,— сквозь смех крикнула она. Друзья растерянно переглянулись.

— Добрый вечер! — учтиво проговорил Офтум. — Это-о... день! — опомнился он.

— Молчал бы,— шепнул Асой и, растянув в улыбке рот, громко сказал другу:

— Проходи, проходи.

— Вы уже, наверное, заранее отметили? — улыбаясь, спросила Жанна.

— Да не-ет. Просто по телевизору мультики показывали про собачек и кошек. Еле его оторвал,— с напускным весельем ответил Асой.

Вошли в дом. В зале их встретила невысокая женщина, мать Жанны:

— Радостен приход ваш! Проходите!

— Спасибо! — ответили, разом друзья.

— Вы садитесь,— показала Жанна на диван,— я сейчас,— и она зашла в смежную комнату.

Асой и Офтум сели.

— Как дела?

— Да вот... Идем сегодня! — многозначительно ответил Офтум.

— Вижу, вижу. Бог вам в друзья!

— Спасибо.

— Может, покушаете?

— Мы ели, — ответил Асой.

— Ну, я хоть чаю поставлю.

— Да не беспокойтесь, тетя Роза.

— Ничего, ничего, — сказала Жаннина мать и вышла.

— Может, пойти посмотреть, ушли они или нет? — словно у себя спросил Асой.

— Не надо глаза им мозолить. Пусть посидят подождут. Увидят, что нас нет, — исчезнут. У собак тоже свои дела бывают, — как всегда, с умным видом сказал Офтум, весело затарабанил по столу пальцами и счастливо пропел:

— Миллион, миллион алых роз.

Тем временем к воротам подходил Илья — отец Жанны, полный, с тоненькими щеточками усов и лукавыми глазами.

— Эти в кино пришли, что ли? — приостановился он, увидев у машины будущего зятя трех собак с кошками в лапах. Немного поразмыслив, он взмахнул рукой и крикнул: — Пшли! Пшли!

Собаки, взяв зубами кошек, нехотя повиновались.

Илья несколько мгновений провожал взглядом лениво отходящих собак, затем зашел во двор.

Войдя в дом, поприветствовал друзей и весело проговорил:

— Чего только не увидишь, пока не умрешь.

— А что? — спросил Асой.

— Подхожу к дому, а около твоей машины три собачки. Сидят, как будто телевизор смотрят. И перед каждой какие-то игрушки. Может, это они вам свадебный подарок приготовили?

— Да не-ет. Мы к ним никакого отношения не имеем,— заверил Илью Офтум и многозначительно посмотрел на друга.

— А то я их прогнал. И уходить не хотели, словно я у них будки отнял. Но ушли все-таки...

Асой и Офтум переглянулись.

— Ну как дела, друзья-братья?

— Спасибо.

В зал с чашками и чайником в руках вошла Роза. В дверях, одетая в светлое платье, с небольшим вырезом на высокой груди, появилась Жанна.

Друзья встали.

— А как же чай? — спросила Роза.

— Они такого цвета не употребляют. Ты бы им беленького чая принесла и огурчиков,— подмигнул Илья друзьям.

— Да нет.

— Ну, мы пошли,— сказал Асой.

— Счастливой вам дороги,— растроганно произнесла Роза.

— Потом заходите,— снова подмигнул Илья.

Когда подходили к машине, Офтум словно невзначай проронил:

— А жаль, что мы с ними больше не увидимся.

— С кем? — спросила Жанна.

— С его друзьями,— ухмыльнувшись, опередил друга Асой.

Офтум смело открыл калитку и, выйдя, остолбенел: у машины лицом к нему, с кошками у лап торжествующе сидели три пса.

— Что стал? — спросил Асой.

— Тихо. Они вернулись и ждут, — негромко ответил Офтум. И втолкнув друга во двор, резко закрыл калитку.

— Что случилось? — удивилась Жанна.

— Рубашку! Опять не погладил! — кинулся к Асою Офтум. Вобрал углы ворота в кулаки и стал усердно мять, — А ну давай снимай! Так в загс не примут. Так, снимай! Вот, — Офтум снял с друга рубашку и протянул Жанне, — видишь какая помятая?

— Что это с вами?

Асой растерянно развел руками.

— В помятых, говорят, не записывают в загсе, — убедительно сказал Офтум.

Жанна взяла рубашку, провела ладонью по измятому вороту и удивленно вскинула плечи.

— Странные вы какие-то сегодня. Пойду поглажу.

А на улице, возле машины, словно в ожидании, внимательно смотря на калитку, сидели три пса.

— Укусят, не ходи! — доносился до них громкий голос Асоя.

— Я виноват, я и пойду, — слышался решительный ответ Офтума. — Ты оставайся здесь.

— Нет! Я с тобой! Ты возьми тот лом, а я — кирпичи.

— Ничего не надо! Человек я или нет?! Горец или нет! Так поговорю с ними по-человечески.

Из-за ворот донесся до псов звон упавшего

на асфальт лома, удары кирпичей и решительные вслед слова:

— Ну я пошел!

— Вместе.

Два друга — Офтум в распахнутом батнике и голый по пояс Асой — шагнули к калитке.

Выдохнув, Офтум потянул ручку калитки.

В метрах тридцати от них легкой трусцой удалялись собаки, а около машины лежали брелок и два рыжих плюшевых кота.

ПЕРЕМИРИЕ

Георг, Танхо и Андрей — двадцатилетние парни, трио национальных инструментов, заканчивали гастроли в одном из курортных городов.

Уже прошло два дня как они отработали последний концерт и, казалось, все было как надо, но вдруг ребята рассорились.

Георг и Андрей торопились домой и готовы были сейчас же собрать свои инструменты и чемоданчики, но старший в трио — большеглазый, стройный гармонист Танхо никак не мог расстаться с одной из трех девушек, с которыми друзья познакомились после первого концерта.

Трио стало походить на струну, готовую вот-вот лопнуть. Нужен был лишь легкий щипок.

Этим щипком оказался беспощадно палящий день, ворчанье доулиста Андрея, который тяжело нес по раскаленной улице грузноватое тело и все время уговаривал друзей перейти на другую сторону в тень. Но до гостиницы

оставалось сотни две шагов, и Танхо с Георгом не хотели переходить улицу.

Так и плелись друг за другом с распахнутыми рубашками.

— Что за жизнь пошла? Каждый только себя знает,— ворчал Андрей,— теперь и брат брату не брат. А что тогда про них говорить. Если я даже упаду сейчас, не дай бог, и сгорию на этом черном асфальте — не подойдут. Жарко, скажут.

— Да прожить мне до того дня, когда ты свалишься,— усмехнулся Георг, подняв худощавые руки.— Ты со своим «мозолем» сам кого хочешь свалишь.

— И что людям от моего честного живота надо. Таким, как ты, нужно быть, что ли? Вилка волосатая. У тебя живот со спины просвечивается. Вон, даже компот вижу, с вишнями.

— А-а,— не поворачиваясь, отмахнулся Георг.

— Иди, иди, зурна усатая.

— Помолчал бы, барабан,— не выдержал Георг.

— Ты это на что намскаешь? — приостановился Андрей и, словно отшвырнув усталость, догнал Георга, повернул его за плечо.

— Если я барабан, то ты свисток. Сначала бы сам научился играть.

— Ты это мне говоришь? — нахохлился Георг.

— Не столбу же тому.

— Извинись. Скажи, что пошутил. Как друга прошу.

— Драх-бада-бада-да-тах! — Понял? — подражая звукам доула, ответил Андрей.

— Еще раз прошу, скажи, что пошутил.

— Иди, давай.

— Что хочешь мог бы тебе простить. Но это... Ты считай всех моих отцов оскорбил. Мой дед на весь Кавказ лучшим зурначом славился. Мой отец лучше него играл. И я сам, можно сказать, с зурной родился. Это ты — не играешь, а как дятел стучишь, — для убедительности Георг постучал костяшками пальцев себя по лбу.

— Э-э, хватит. Не дети же! — вмешался Танхо.

— Что хватит! Он мне в душу плюнул, — сверкнул черными глазами Георг.

— Из двоих кто-то же должен быть умней, — неудачно вставил Танхо.

— А кто дурак? — подняв пухлый подбородок, угрожающе протянул Андрей.

— Ну вас... — махнул рукой Танхо.

— Сам иди. Тоже... начальник.

— Хорошо. Сейчас придем в гостиницу, и делайте, что хотите!

— Хотите — не хотите. Он думает, если родился на два часа раньше, то люди от него разные штуки терпеть должны, — бросил Андрей вслед уходящему Танхо и двинулся на другую сторону улицы.

Так и шли: впереди Танхо, уныло, в шагах двадцати сзади — Георг и по другой стороне улицы — Андрей.

...Смешная человеческая жизнь: можно предугадывать события на десять лет вперед, а вот что тебя ждет через десять минут — порой и не узнаешь.

Не знали этого ни Танхо, ни Георг, ни Анд-

рей. Вернувшись к себе в номер, молча завалились на кровати.

Первым не выдержал Танхо. Подсев к столу с телефоном, он через справочную добрался до нужного номера.

— Это касса аэрофлота? — мягким голосом спросил он. — Здравствуйте, девушка... Мне в Нальчик нужно.

Все что угодно могли ожидать Георг и Андрей, но такого благородства!..

— Значит, завтра? В восемь двадцать... Ага... Спасибо! — слишком громко закончил Танхо и снова завалился на кровать.

Через некоторое время зазвонил телефон. Это была Лена, одна из трех девушек.

Танхо украдкой посмотрел на Георга.

«Это я должен позвать его? Никогда. Прежде кошки начнут лаять!» — подумал он и ответил в трубку:

— Лена! Это я, Танхо! Перезвони! Плохо спышу! — последнюю фразу Танхо почти кричал, хотя и слышал девушку прекрасно.

Снова зазвонил телефон. Георг выждал третий... пятый звонок, медленно поднялся, подошел, снял трубку.

— Да-а, это я, Леночка. А как же, соскучился.

— Приходите вместе, к берегу, — говорила Лена.

— Сегодня не получится. Потом объясню. Встретимся с тобой у наших камней.

— Хорошо, Георг. Позови Андрея. Здесь Таня.

Георг искоса посмотрел на друга. Тот лежал с закрытыми глазами.

«Глаза закрыл, а уши, наверное, как слон

развесил,— подумал Георг.— Э-э! Самый хитрый народ эти барабанщики. Ты, говорит, играть не можешь. Усы сбрею, но не позову».

— Алло! А-а, это ты, Таня? Не слышу. Перезвони! — Георг несколько раз постучал по трубке и нарочито зло опустил ее на аппарат.

— Если телефон поломался, го-лову-у то-да-а оторву-у,— тут же протянул Андрей по своей привычке напевать на какой-нибудь мотив нужные ему слова.

— А если б твоя мать знала, что родишься ты, то она б родила другого,— бросил Георг Андрею и, выйдя из номера, хлопнул дверью.

На следующее утро раньше всех поднялся Танхо. Специально, точно вокруг никого не было, он посвистывал и весело напевал:

— Ты, Нальчик, родина моя.

Проснулись Георг и Андрей, но, притворяясь спящими, лежали с закрытыми глазами. И лишь когда Танхо с гармонью и спортивной сумкой прошел к двери, Георг повернулся к стене, а Андрей пропел:

— Он думает, что он один

Биле-эты смо-ожет достать. Ай джан!

— Ты, Нальчик, родина моя,— насмешливо ответил Танхо и вышел.

Через минуту поднялся Андрей. Умывшись, степенно расчесался, разгладил на животе рубашку и беспечно затыкнул:

— Пускай не думает он.

Что кассы все аэрофлота

Купил его отец родной. Ай джан! — Вышел и он.

— Тоже мне, деловые,— усмехнулся Георг.— Посмотрим, кто прилетит первым!

...В аэропорту друзья упорно не замечали

друг друга, демонстративно помахивая паспортами, из которых дразнящими языками торчали зеленые листы билетов.

В самолете расселись в разных рядах.

...После посадочного толчка друзья невольно переглянулись, но резко отвели взгляды.

Георг улыбнулся, посмотрел в иллюминатор и сказал соседу:

— Знаете, мой дед говорил: человек должен иметь семью, двух друзей, если они настоящие,— для жизни хватит. И еще человек должен иметь родину. Место, куда нельзя не вернуться, как бы хорошо ни было в других краях. Правду говорил дед. Своей семьи у меня пока нет, но зато есть родина и друзья. Родина вот,— показал в иллюминатор Георг.— А друзья тоже здесь. Хотите услышать их?

— А почему бы нет? — снисходительно улыбнулся сосед. Георг еще раз посмотрел в иллюминатор и снова что-то приятно защемило в груди.

Он раскрыл футляр, бережно взял зурну, вставил трость.

— Можно? — спросил он у соседей.

— Давай.

Георг на секунду замер, потом поднес зурну к губам. Выплыли, и от низких, потянувшись к высоким, полились и затопили салон нежно-долгие звуки.

Услышав зурну, настороженно вытянул шею Андрей. Поняв, что это играет Георг, заерзал, беспокойно оглядываясь по сторонам.

— Э-э-э! Не играет, а поет, не быть его отцу в трауре. Аж сердце останавливается! Друг мой это,— сказал Андрей удивленному соседу.— Правда, я его не хвалю, испортится

еще. Но у него дед был мировой зурнист, отец лучше его играл, и сам он, можно сказать, с зурной родился.

Андрей расчехлил доул, перекинул через плечо ремень.

— Поддержать друга надо, а? — обратился он к соседу.

— Играй.

Андрей легко вскинул руку и, ударив по краю доула пальцами, рассыпал затем по салону четкие, точно прыгающие орешки, звуки.

Салон заулыбался.

А с последнего ряда, надевая гармонь, поднялся Танхо.

Вздогнули пальцы его, разошлись меха гармони и, соединившись с доулом и зурной, вступили в салон горящие аккорды.

Играя, Танхо двинулся к первому ряду, где уже возле Георга устроился Андрей.

— Чак-чак-чак, — приветствуя друга, быстрыми пальцами выбил Андрей.

В ответ Танхо рванул меха гармони и вновь заполнил салон обжигающими звуками.

Эти звуки наполняли и все существо Танхо, сильнее разгорались в его глазах, и с каждым мгновением становилось видно, что он не в силах удержать себя и гармонь, и нужно было что-то сделать.

Неожиданно для себя и других Танхо перекинул гармонь за голову и теперь уже за плечами яростнее заходили меха гармони.

Салон, ахнув, замер.

А зурна поднимала мелодию на невероятную высоту и, подхватив звуки гармони и доула, казалось, вырвалась из самолета.

— Товарищи! — хотела вмешаться бортпроводница, но ее умоляюще перебил сосед Георга. Он приложил палец к губам и произнес:

—Пожалуйста... доченька. Душа поет.

СИНИЙ ГОЛУБЬ

Не стало у Асэфа бабушки. Умерла Дэдэ. Ушла спокойно. И даже когда глаза ее уже ничего не видели, а светились, как два маленьких светло-карих озерца, на глади их словно было сказано: то, что могла сделать я — маленькая горская женщина,— сделала.

Имя у Дэдэ теплое — мама. Асэф никогда не называл ее бабушкой. Ба, бабуль, ба — вот только так и никогда по-другому. Да и все вокруг любили ее. Выйдет она посидеть у калитки, не пройдет и пяти минут, как к ней подсядет соседская женщина или девушка. И как только узнавали, что она на улице? Дэдэ никогда не говорила много. Больше слушала. И только изредка весело или задумчиво, поправив на голове темную, повязанную к затылку косынку, скажет два-три слова. Зато в тот же час или день соседи скажут о ней: как Дэдэ умеет красиво говорить!

Лицо ее выписано чистыми долгими морщинами. Такие же суховатые, с заметными венами ее руки. И душа... душа ее похожа на усталую спокойную реку: течет река, а вот появляется еще одна, поменьше, и впадает в большую реку. Так и люди. Раз появились они в жизни ее, значит, несут свои годы вместе. Бывало всякое, встречались и такие реки,

которые высыхали. Но не по вине большой реки.

А вот теперь не стало ее, единственной ба Асэфа.

Слезы пересохли, душа перегорела. Стало как в чистой покинутой комнате...

Вот почти и подъехали к дому Дэдэ. Ее оставили там, под рыхлым желтым холмиком, а сами приехали.

Асэф, кажется, и не заметил, как, мерно гудя, неся в себе людской говор, «Икарус» подкатил к дому. Нет, он видит лица, и разговоры. А однажды захотелось сжать кулаки и дать в морду: кто-то улыбнулся. Но Асэф понимал: нельзя винить. Человек с годами становится как камень, иногда тверже камня. Таким его делает жизнь, таким его лепят многочисленные за жизнь смерти родных, близких и окружающих людей.

И знал Асэф, понимал, что улыбнувшийся не злорадствовал. Просто человеческая жизнь в этом мире, как лист на осеннем дереве.

Автобус остановился. Резко раскрылись двери. Асэф почувствовал, что лицо его стянуто, словно покрыто чем-то вязким: высохшие слезы.

Автобус с женщинами подъехал, как обычно, раньше, и они уже большой группой стояли у раскрытых ворот и, поливая друг друга из кружки, легкими хлопками бросали в лицо воду. Потом стали умываться мужчины. Так вот положено. Людей было много. В раскрытые ворота были видны два стола, длинно протянувшихся вдоль широкого двора. Один стол тянулся вдоль деревянного забора, другой — вдоль стены дома.

Первыми за стол стали усаживаться старики. Потом мужчины помладше. За второй стол сели товарищи Асэфа.

Проходя в глубину двора, Асэф ответил кивком нескольким знакомым уважаемым мужчинам. Среди них был и секретарь парткома фабрики Илья Григорьевич.

Над двором стоял осторожный легкий говор.

Свадьбы — да будут всегда свадьбы! — похороны теперь стали тоже местами встреч давно не видевших друг друга людей.

Асэф понимал и это. Асэф — поэт.

Правда, знаменитым он не был. Просто писал стихи, работал на фабрике.

...В глубине двора, под виноградником, в темных платьях сидели женщины. В середине старшие по возрасту покачивали головами и вели плач. Плач уже был негромким и усталым.

Асэф достал сигарету, по ступенькам вошел в прихожую дома, прислонился к стене и закурил.

Из окна Асэф заметил, как отламывает небольшие кусочки лаваша и, окуная их в соль, раздает близ сидящим Савке — долголицый горбоносый мужчина, обувщик.

Лица, лица, лица.

Асэф заметил круглое, как мячик, лицо директора школы. Он вертит перед Миной, инженером фабрики, маленькой ручкой, и видно, что инженеру уже надоело философствования директора. В начале «старшего» стола, среди стариков, сидели рабби — священники. Один из них встал, провел ладонью по острой белой бороде, словно вытянул колпачок.

поднес «Писание» к глазам и медленно, кивая в такт головой, стал читать. Асэф вышел. Над столами звучал равномерно-носовой звук голоса рабби и в промежутках поднималось многочисленное мужское «Омин!».

— Омин!

— Омин!

— Омин!

Лица. Лица. Лица за общим столом. Разные. Но в незримом все чем-то похожие друг на друга.

Асэф попался на взгляд своего друга Коли, добродушного молодого человека с широкими усами, широколицего, похожего на мясника, и мясника на самом деле. Он кивнул Асэфу: подойди. Асэф хотел было отказать: сейчас нет, но на него смотрели самые близкие друзья, сидевшие с Колей, и ждали тоже. Асэф подошел. Товарищи раздвинулись. Асэф сел.

И снова тепло стало оттого, что в этот день друзья пришли сочувственно пожать ему руку, поехали с ним на кладбище, бросили по горстке земли на могилу бабушки, и теперь снова с ним.

Молча разлили водку по рюмкам. Помолчали. Черноусый, слегка горбоносый Витя поднял рюмку.

— Не видеть тебе больше горя!

— Омин! Омин! Омин! — кивнули ребята головами и разом выпили.

Потом Асэф поднялся, сказав, что надо узнать, как справляется с делами младший брат и другие родственники, подававшие на стол.

Асэф уже был в глубине двора, как его остановил громкий мужской плач:

— Ахи-Ахи-Ахи!

Это был разлохмаченный пятидесятилетний Шорхош, всегда в одном и том же замусоленном пиджаке, бесцветных брюках.

Шорхош по обыкновению ходил по свадьбам, поминкам, танцевал и плакал. Танцевал оттого, что свадьба. Плакал — то ли оттого, что ему действительно было жалко ушедшего или себя, то ли оттого, что выпил мало и надо добавить. Шорхоша почти не гнали, если он знал свою меру.

Шорхош уже подошел к Асэфу, что-то залепетал, и сразу в спину Асэфу ударились несколько женских голосов:

— Выведи!

— Вывести надо.

Но Асэф не прогнал Шорхоша, а повел и посадил в дальнем углу стола. Он налил Шорхошу водки и снова пошел в глубину двора. Прежний осторожный говор, стоявший над двором, стал перекатываться в гул.

Вдруг над головами раскинулось хлопанье:

Хоп-хоп-хоп.

Хоп-хоп-хоп.

Двор замер.

Хоп-хоп-хоп.

Лица обратились к небу, к осеннему синему небу: над двором бил крыльями голубь:

Хоп-хоп-хоп.

Головы поворачивались. Голубь опускался. Голубь был белым. Но он опускался с синего неба и был словно малая часть безбрежной синевы. Синий кусочек синего неба.

Головы поворачивались. Голубь сложил

крылья и сел на плечо Мини. Мужчина застыл с растерянной полуулыбкой. Его рука так и осталась лежать на столе, прижав вилку. Все смотрели на Миню.

Голубю надоело черное плечо, и он порхнул на стол. Затем, ткнув клювом в тарелку с мясом, взлетел и снова сел на плечо другого мужчины. Голубь почистил перья и на этом замершем плече и вновь слетел на стол.

Асэф смотрел в лица людей. Многие опускали головы, стараясь скрыть... улыбки.

А голубь снова садился на чье-то плечо. И снова его не прогоняли и не брали на руки.

— Голубь! — вдруг радостно рванулся маленький мальчик, но женская рука жестко остановила его.

Асэфу подумалось, что в этом есть что-то особенное, и руки его потянулись к голубю, чтобы приласкать птицу. Но вокруг были люди, и Асэфу казалось, что руки его связаны.

Все это продолжалось с минутой.

Голубь слетел еще с одного застывшего плеча, поднялся и забил крыльями. Он становился меньше и меньше.

Люди опустили головы, словно разом выдохнув, заговорили.

Поднялся рабби. Асэф не слышал его.

Синие крылья сливались с синей безбрежностью.

Асэф посмотрел на читающего «Писание» рабби. Рабби закончил читать, и люди стали вставать из-за стола. Асэф увидел, как поднялись его товарищи, достал сигареты и пошел к ним.

ПОДОЖДИ-КА!

Эрзол сложил газету вдвое и бросил ее на стол.

— Эх, неохота,— подумал он.— Ничего неохота. Ни читать, ни думать... Не быть моему отцу в трауре, интересно, сколько дум я передумал за жизнь?

Он повернулся на стуле, встал. Выходя из дому, прихватил низкую аккуратную табуретку.

Во дворе у таза с гусиными перьями на низеньком стульчике с двумя подушками восседала его старуха Шимхо. Она быстрыми щипками срывала с перьев пух, а сама, казалось, была далеко от этого пестрого вороха, от своих рук: так неподвижно смотрели ее выцветшие глаза.

— Ты куда?.. — подняла она белую голову навстречу проходившему мимо Эрзолу.

— Пойду на улице посижу, на людей посмотрю,— ответил Эрзол.

— Иди-иди, вечер хороший, и солнце село.— Шимхо несколько раз кивнула в такт своим словам и снова вернулась к своим мыслям.

А вечер был действительно хорош. Он вывел людей из домов, и они сидели сейчас группками у ворот, вороша старые, перекручивая новые истории, или же выставляли на суд соседей свои домашние заботы.

Соседи сразу заметили Эрзола.

— Быть доброму вечеру! — в несколько голосов перелетело к Эрзолу через неширокую улицу.

— Здравья вам,— ответил Эрзол.

Соседи пригласили Эрзола к себе, но он уже удобно сидел. Вставать не хотелось.

— Не беспокойтесь, я здесь посижу. Моя сторона вкуснее,— пошутил Эрзол и по привычке повел по белым буденовским усам двумя пальцами в одну и другую сторону.

После жаркого дня улица ожила. Мимо Эрзола проходили знакомые и незнакомые люди. Многих он просто не замечал, а если появлялось интересное для Эрзола лицо, хитро прищуренный глаз стрелял острым бодливым взглядом.

В шагах десяти от себя Эрзол увидел молодую женщину.

— Ишь ты,— залюбовался он.— Аж потрогать хочется... Ох, какой мир стал... Женщина от паранджи к этим коротким платьицам скакнула. И к этим вот вырезам на груди. Того и гляди вывалится оттуда что есть и чего нету.

— Когда-то отрадой белого света были у меня женщины, а теперь — просто белый свет,— качнул головой Эрзол.

— А теперь копошись потихоньку, Эрзол, и люби, как бог, все живое и неживое.

Эрзол хлопнул ладонями по коленям и вдруг вспомнил, что сегодня он должен... умереть.

— Постой, не сегодня,— засомневался он.— Нет, точно — сегодня. Чертом я порожден, если не так. Именно сегодня.

— Не быть моему отцу в трауре! — теперь Эрзол удивился своей и вообще человеческой памяти, качнул головой, восхищаясь, как это — благодаря какой-то малости, через несколько лет можно что-то вспомнить.

Интересно сделана человеческая голова. Вот, кажется, всего лишь женщина прошла, а он вспомнил.

— Спасибо тебе, дочка, если бы не ты, не пришлось бы мне умереть сегодня. А сейчас и время подходящее — прохладное, — Эрзол представил водку, потом сразу увидел диван, на котором он решил умереть. На диване удобнее, да и постель разбирать не надо.

— Умирать-то, умирать, — Эрзол почувствовал, как заселился в нем другой, очень неуютный Эрзол, — Шимхо как на это посмотрит. Еще выйдет из этого что-нибудь. Нет, перетерпит, она еще молодая. Что такое для женщины шестьдесят пять лет?! — успокоил себя Эрзол.

— А может, ей все прямо сказать? Нет, скажешь — умираю, чего доброго свалишь старуху с ног. Так не пойдет. Ну как же сказать Шимхо? Как? — злился Эрзол, что ничего не приходит на ум, и мысли, как тяжелые мешки: несколько свалилось, а их и не поднять и не передвинуть.

Несколько минут Эрзол закручивал усы, потягивал их к вискам и наконец подумал:

— Ага, вот как я скажу Шимхо...

Эрзол уперся руками о колени, поднялся и, прихватив табуретку, вошел в калитку.

Дом у Эрзола небольшой — в глубине двора. А зачем старикам больше? Двух комнатушек с кухонькой хватит. Зато с улицы стоит хороший. Сыну выстроил. Главное, не один живет он в этом большом дворе. Сын, внуки. Правду говорят: старость без детей — дом без окон, темница.

Эрзол вошел в дом.

— Кушать будешь? — спросила Шимхо. Она стояла у газовой плиты и сама походила на нее: такая же широкая, только выше и темнее.

— Я умирать пришел, — чуть было не сказал Эрзол, но вслух коротко ответил:

— Нет.

Он прошел в переднюю комнату и лег на диван, свесив ноги.

— Шимхо! — крикнул он. — Шимхо! — И тише добавил: — Глухая баба.

— Чего? — подошла старуха. — Чего ты так лег, по-человечески нельзя? — показала Шимхо на сапоги.

— Сними лучше.

— Ты чего, нездоров?

— Не видишь, что ли. — Эрзол сделал очень серьезное лицо, остановил взгляд на потолке и высоко поднял подбородок.

— Слушай меня, пойді к моим товарищам Бодону и Савке и скажи, что тяжелый я. Прощаться хочу.

— Умереть мне! — всплеснула Шимхо руками по коленям. — Что говоришь ты?

«Вот дура, — подумал Эрзол, — не видит, что ли, какой я».

— Не поднимай крика. Иди. Только смотри, никому ни слова больше. А сапоги, так уж и быть, я сниму сам. Поняла?

Эрзол сел, для успокоения весело подмигнул Шимхо и стал стягивать сапоги.

— Подожди, помогу, — наклонилась Шимхо, но Эрзол отстранил ее руку:

— Ты делай, что тебе сказал, — Эрзол вытянулся на диване и сложил на груди руки.

— Ах-ах, как хорошо,— подумал он, чувствуя пальцами и пятками прохладу и легкость.

Шимхо вдруг показалось, что лицо Эрзола действительно стало белее усов.

— Чего стоишь? Ты только не волнуйся, походи к Бодону и Савке и скажи, что я зову их попрощаться. Смотри, больше никому ни слова. Иначе потом выгоню тебя из дома:

«Как это — потом!» — подумала Шимхо.

— Идешь или нет?! — Эрзол резко поднялся и увидел, что глаза Шимхо стали похожи на трехкопеечную монету.

— Да не бойся ты. Иди,— нежно сказал Эрзол.

«Здесь что-то есть,— подумала Шимхо.— Умиравший так не вскакивает и не подмигивает».

Эрзол сцепил на груди пальцы, но глаза не закрывал, смотрел на Шимхо.

«Сына позвать, что ли?» — подумала Шимхо.

— Если кому-нибудь скажешь, тогда смотри! — сказал Эрзол, будто отгадав ее мысли.

«А может, так действительно лучше,— Шимхо чувствовала, что ее мысли никогда так быстро не носились в голове.— Да, позову его друзей, кто знает, что на уме у этого старого черта».

— Идешь или нет? — медленно расставил Эрзол слова.

— Иду, иду,— Шимхо вышла.

— Вот так, хорошо,— Эрзол пригладил усы.— И Шимхо, кажется, не испугалась, и дело будет. А иначе нельзя,— оправдывался перед собой Эрзол.— Ведь бабий язык какой: хоть на замок закроешь, так он в замочную

скважину да и вылезет. Но теперь главное дело было сделано и умереть не страшно.

Эрзол сложил на груди руки, закрыл глаза и представил...

...Он лежит на белых простынях, белых подушках, по грудь накрытый белым до синевы одеялом. В другой комнате сидят старухи. Вот уходит его последнее дыхание. Сразу же поднимается вой, крики. Шимхо крепко держат за руки, но она вырывается и успевает растрепать волосы и, крича, расцарапать себе лицо. Потом его раздевают, безжизненное тело переносят и кладут в цинковую ванну...

Тут Эрзол почувствовал, как по его груди к ногам пробежал отвратительный холод. Эрзол резко сел.

— Тьфу! — сплюнул. — Какая это гадость! Я в ваши усы... — ругнул он своих товарищей и взялся за сапог. Нагнувшись, он подумал, что сапоги надевать еще нельзя, встал и пошел искать шлепанцы. Потом достал из холодильника водку, поставил ее на стол в комнате, где был диван, и сел у окна. Он посмотрел на смятую подушку и снова с наслаждением ругнулся:

— Я в ваши усы...

Во дворе слышались шаги. Эрзол посмотрел в окно и увидел озабоченные лица. Шимхо что-то показывала руками, вслед ее словам два старика, широко расставляющий ноги, плотный Бодон и аккуратненький, маленький Савке, покачивали головами.

— Го-го-го, — засмеялся Эрзол. Снова вытянулся на диване и закрыл веки.

Он услышал осторожные шаги и тихий голос Бодона:

— Уснул, что ли?

Эрзол открыл глаза, увидел склонившиеся над ним напряженные лица и сомкнул веки.

— Что с тобой, брат мой? — спросил Бодон.

— Пора мне, ухожу от вас, — сдержал Эрзол смех.

— Не говори дурных слов!

Эрзол услышал, как возле него поставили стулья, и Бодон с Савке сели.

— Ухожу. Вон водку приготовил. Выпьем по сто грамм, и я умру. — Эрзол открыл глаза.

«И вправду, что ли, думают, что подыхаю? Хрена вам, а не моих похорон», — Эрзол чувствовал, что больше не может сдержать смех.

— Гу-гу-гу-гу! Да садитесь вы, — гулко хохотал Эрзол.

— Ты что, на старости с ума сошел? — Савке повертел тонкими маленькими руками.

— Нет. — Эрзол перестал смеяться, но еще улыбаясь, спросил:

— Сегодня какое число?

Старики переглянулись.

— Пятнадцатое. Ну, дальше? — Бодон чуть наклонил к плечу голову.

— Эх, — бросил рукой Эрзол. — Ничего не понимаете... Помните... пять лет назад мы сидели в этой комнате. Все трое. И ты мне сказал: «Даю тебе пять лет жизни». Вспомнил? Значит, сегодня я должен был умереть. А? — Эрзол прикрыл один глаз.

— Так и сказал бы сразу, — покачал головой Бодон.

— От него чего-нибудь хорошего разве увидишь? — Савке махнул рукой.

— Увидите, может быть. Если дадите еще лет пять пожить.

За спинами друзей Шимхо покачала головой.

— Такого вот товарища нам бог дал. Сколько мы его уже терпим,— начинал смеяться Бодон.

— Э-э-э, тебя-то я знаю, ты бы меня еще лет сто с удовольствием потерпел бы.

— Жenuшка, хотя при них и неудобно тебя так называть, приготовь-ка нам хинкал. А мы пока пару партий в карты сыграем.— Эрзол пригласил стариков к столу...

Наливали по полной рюмке.

— Интересное дело,— говорил Эрзол, вытирая полотенцем масляные губы.— Женщину увидел и вспомнил. А потом сижу на улице и думаю, как бы так сказать, чтоб никто не испугался. И еще думаю — неудобно такими вещами заниматься, не мальчик все-таки. Но как представлю все,— смех так и прет из меня. А что нам еще осталось. Хоть подурачимся напоследок. Самое интересное было, когда лежал и представлял, как это я на тот свет ухожу. До того ясно представил, что чуть и вправду не умер. А зато мы сейчас вместе. У стариков ведь точно, как у молодых: друзья нужны.

— Савке,— попросил Эрзол,— скажи нам пару хороших слов. Хоть и маленькая твоя белая голова, но когда говоришь ты, удивляюсь, где такая уйма слов прячется.

— Зато в твоей здоровой кастрюле и прятаться нечему,— Савке поднял тонкими, цепкими пальцами рюмку.— Давайте выпьем за нашу землю. Чтобы всегда была она для наших детей и внуков. И чтобы не было войн! За светлый мир!

...Когда прощались, Бодон выделил Эрзолу еще пять лет жизни и, хлопнув по плечу, сказал:

— До встречи, брат...

...В полночь Эрзол проснулся.

Шимхо спала на своей кровати. Эрзол сбросил с себя одеяло, босиком прошлепал к ней, несколько раз осторожно, пока она не проснулась, толкнул в плечо.

— Пошли,— Эрзол потянул за руку севшую на кровати Шимхо.

— Старый черт. И на старости успокоиться не может,— проворчала Шимхо, поняв, куда ее тянет старик.

Эрзол пропустил ее вперед и, шлепая за ней, на мгновение остановил взгляд на открытом окне.

Ночь. Черная августовская ночь, как бездомного щенка, придавила землю. Только в далекой темноте холодным блеском подергивались звезды. Эрзолу показалось, что это не звезды, а чьи-то шальные глаза всю сейчас смеются над ним — над Эрзолом, над всей его жизнью, над всем тем, что совершал он и делает сейчас.

«Несмешные дела,— долго потянулась мысль. Эрзол посмотрел на свою кровать, потом снова в окно и, словно кого-то одолев, подумал: — Подожди-ка ты еще у меня, собачья дочь».

— Черта с два! — кулаком погрозил кому-то в темноту Эрзол. Но, посмотрев в окно, испуганно шепнул:

— Спаси меня бог,— несколько раз шаркнул ступнями о маленький коврик и влез к Шимхо в теплоту.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕСТНИЦЫ	3
ДУША В ДУШУ	12
ВЫБОР	17
СТАРЫЕ КАРТИНКИ	26
ЩЕЛБАНЫ	38
РАЗ! ДВА! ТРИ!	42
ПЕРЕМИРИЕ	53
СИНИЙ ГОЛУБЬ	60
ПОДОЖДИТЕ-КА!	66

Мигиров И. А.

**М 125 До встречи, брат : Рассказы.—
Нальчик : Эльбрус, 1984.— 76 с.**

20 к. 1000 экз.

Первая книжка молодого татского прозаика, пишущего на русском языке.

**М 4702010000-036
М 125 (03)-84 31-84**

С (Тат) 2

Носиф Александрович Мигиров

ДО ВСТРЕЧИ, БРАТ

Р а с с к а з ы

**Редактор А. С. Кайданов
Художник М. С. Кастромин
Художественный редактор И. Г. Абрамов
Технический редактор Н. М. Рахаева
Корректор В. А. Вымячкина**

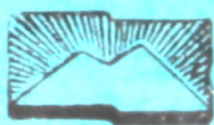
ИБ № 1134

**Сдано в набор 16.02.84. Подписано к печати 10.04.84.
401181. Формат 70×90¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ.
л. 2,78. Усл. кр.-отт. 2,96. Уч.-изд. л. 2,7. Тираж 1000 экз.
Заказ № 1289. Цена 20 коп.**

**Издательство «Эльбрус»
Нальчик, улица им. адмирала Головки, 6**

**Полиграфкомбинат им. Революции 1905 года
Госкомиздата КБАССР
Нальчик, проспект им. Ленина, 33**

20 коп.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭЛЬБРУС»

НАЛЬЧИК · 1984

Наша самая большая
Мигирова а напутствие
ногосекачелее и
абмора.

Иосиф Мигиров

40 ВСТРЕЧИ, БРАТ

РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭЛЬБРУС»
НАЛЬЧИК · 1984

С(Тат)2
М 125



Иосиф Мигиров — молодой татский прозаик, пишущий на русском языке. Он выпускник Литературного института имени А. М. Горького.

Рассказам И. Мигирова присущи своеобразный национальный колорит, вера в доброту человеческой души. «До встречи, брат» — первая книжка автора.

М $\frac{4702010000-036}{M125(03)-84}$ 31-84

© Издательство «Эльбрус», 1984.

ЛЕСТНИЦЫ

Этот год Данил объявил «годом Лестницы». То ли материал у него подобрался для них — из реек, то ли еще почему, но Данил уже видел, какими будут они и знал их количество.

А сработать он решил — семь. По количеству разменянных им десятков лет, так до едкой тоски незаметно прошедших и растаявших, словно это были не десятилетия, а каких-то несколько ложек соли, невзначай и неизвестно для чего брошенных в кипяток.

Данил не был ни краснодеревщиком, ни просто плотником. И хотя в жизни ему много чего пришлось переделать, служил он всего на двух должностях. Последней, после которой он уже три года как ушел на пенсию, была работа школьного завхоза. И хотя ей он отломил добрый кусок своей жизни, почти ее всю, главная должность осталась там — в смертных сороковых, когда он был трубачом полкового военного оркестра.

Был и остался им. Потому что так и не смог перешагнуть той полосы из нескольких лет. Не смог потому, что нельзя навсегда оторваться от главного дела жизни, ибо главное дело не бывает ни коротким, ни продолжительным. Оно — просто главное.

И Данил выполнял его хорошо. Он был незаменимым трубачом.

Был Данил и хорошим солдатом. И если требовалось, брал винтовку, и никто не мог

упрекнуть полкового трубача в том, что хранился он от пуль за чужими спинами. Никто не мог, потому что упрекнуть было не в чем.

Теперь свою трубу Данил берег в стареньком, но еще крепком шифоньере. Изредка, по случаям, доставал и наводил на золоченой меди бравый блеск.

Но ни разу, почти за сорок лет после победного дня, он не сыграл на ней и, кажется, позабыл привкус прижатого к губам чуть солоноватого мундштука.

— Что же ты, Данил, так никогда и не сыграешь? — поначалу спрашивали люди.

— Фронтовой трубач просто так играть не может, — полушутя отвечал он и вспоминал послевоенную клятву, что не прикоснется к мундштуку до особого случая.

Что за случай — не знал ни сам Данил, ни кто другой.

Люди уважали Данила, а после одного случая к этому чувству добавилась суеверная осторожность.

В тот день Данил стоял в кругу товарищей. Как обычно, над кем-то подшучивали, вспоминали разные случаи. Мимо них, поздоровавшись, прошел пожилой мужчина. Данил долго смотрел ему вслед. Кто-то заметил его пристальный взгляд и ухмыльнулся:

— Данил, ты смотришь, как вслед молодой девушке.

Данил не то для себя, не то для других медленно сказал:

— У него было такое лицо, как будто он завтра умрет.

Товарищи поначалу как-то зябко насторожились, потом завели разговор о разных чуде-

сах, а в конце концов все перевели в шутку. И, наверное, так и забылись бы слова Данила, но тот мужчина неожиданно на следующее утро умер.

На похоронах, когда, поговорив обо всем на свете, люди вновь вернулись к неожиданной смерти покойного, в одной из групп мужчин вдруг вспомнили слова Данила.

К вечеру ошеломляющая молва облетела все дома района. Эту новость стали обглаживать, как кость; и как бы между прочим была переворошена Данилова жизнь, и люди уже просто не могли не найти в ней истоков такого предвидения. Данил стал обладателем редкого человеческого дара, и через некоторое время дали об этом знать и ему самому.

...Данил заканчивал свою первую лестницу, наставил последний гвоздь и размашистыми ударами вбил его в гладко обструганную рейку.

Лестница получилась аккуратной, с чуть сходящимися кверху вертикальными рейками. Данил приставил ее к стене небольшого аккуратно выбеленного дома, отошел на несколько шагов и, осматривая работу, забубнил какую-то восточную мелодию.

В середине уютного, чисто выметенного двора стояла плетеная табуретка. Данил сел на нее, устало сложил на коленях матовые с добрыми морщинами, умные руки.

— Вот так, — сказал он и некоторое время долгим, точно убегающим в воспоминания взглядом смотрел на лестницу.

Задумавшись, он не заметил, как к сетчатому забору подошел сосед — добродушный, напоминающий пивную бочку Илогум.

— Что задумался? — спросил он.

Данил обернулся на его густой, низкий голос и, улыбнувшись темными глубокими глазами, ответил:

— А-а, это ты. Да вот — глаза дорогу сте-
лют. Наверное, сын с внуком приедет.

— Ну, раз ты говоришь, значит приедет. Твое сердце не обманывает.

— Понимаешь, не столько по сыну соскучился, сколько по внуку.

— Внуки слаще. Это ты мастерил? — спросил Илогум, показав на лестницу.

— Да, вот, думаю, делать нечего, а в сарае реек полно. Чего им зря пропадать? Решил лестницы сделать. Штук семь. Одну себе оставляю, остальные соседям отдам. Вот — первая. Пусть она будет тебе, возьми. — Данил поднялся и перенес лестницу к калитке в заборе, разделявшей его двор с илогумовским.

— Это дело надо обмыть, — сказал Илогум, взяв подарок Данила.

— Успеется.

— Всем лестницам лестница, — похвалил Илогум.

— Знаешь, вот делаю лестницу и жизнь вспоминаю. Лестницы на жизнь похожи...

...Через две недели Данил заканчивал свою седьмую лестницу. Шесть других уже стояли в шести соседских дворах. Весело, трумкая какой-то солдатский марш, Данил подгонял верхнюю рейку.

Жизнь в эти дни шла бодрая: от ясных солнечных дней, от того, что приехал в отпуск сын и — главное — привез к Данилу любимого внука — Тимурку.

— Дядя Данил! — услышал он ласковый оклик.

К решетчатому забору подошла дочь Илогума Ида.

— Дядя Данил, пирожки уже готовы. Мама говорит, что вы их очень любите. Мы ждем вас. И тете Раисе скажите, — не забыла Ида пригласить и даниловскую старушку.

— Не беспокойся, душа моя, — ответил он, — хотя я только недавно ел, но твои пирожки с удовольствием попробую. Сейчас вот забью последнюю рейку и приду. А то из-за мелочи возвращаться к работе — знаешь как неохота. Да еще после такого лакомства, как пирожки с луком.

— Хорошо, дядя Данил, мы ждем и вас и тетю Раису.

— Иди, доченька, я сейчас.

Данил весело забубнил какую-то песню, вколотил последний гвоздь и приставил лестницу к стене.

«Красивая получилась, — подумал он, отошел на несколько шагов и снова любовался. — А ну-ка, попробую, — решил он, поставил ногу и надавил на нижнюю перекладину, потом взялся повыше руками и, точно старый упитанный кот, перебирая ногами и руками, стал подниматься. — Отличная работа», — погордился Данил, но вдруг затрещала и, скрипнув, треснула под ногой перекладина.

— А-а-а! — вскрикнул Данил, успев вцепиться в какую-то рейку руками, и с грохотом упал на асфальт.

— Что случилось?! — выбежала на крик Раиса и, увидев накрытого лестницей мужа, надрывно закричала:

— У-е-е! У-е-е! Убился! Убился!

На ее крик сбежались Илогум, его жена Эрув и Ида.

Илогум высвободил Данила из лестницы, приподнял за плечи.

— Как же ты так? — спросил он. — Ничего не сломал?

Данил пошевелил ногами, руками, оперся ладонями об асфальт и, увидев наклонившееся над ним тревожное лицо Иды, улыбнулся:

— Ты не волнуйся, дочка. Целый.

Илогум помог ему подняться. Держась за поясницу, Данил прохромал пару шагов и с усмешкой проговорил:

— Вот так и жизнь...

Илогум посмотрел на лестницу, потом на Данила, подпиравшего поясницу, запрокинул голову и раскатисто рассмеялся.

— Да-а, ко всему прочему в конце и смешно. Э-хэ-хэ,— улыбаясь закивал головой Данил.

— Это дело не обмыть нельзя! — потряс Илогум ладонью. — Эй, женщины, несите сюда пирожки.

В несколько мгновений у стены дома стал небольшой столик с поджаренными сочными пирогами.

— Пью за старую, крепкую гвардию,— поднял Илогум первый тост.— Дорогой Данил, если бы ты упал и с высоты самой высокой пожарной лестницы, все равно помялся бы не ты, а асфальт. За твое здоровье, Данил! Да прожить тебе сто лет!

— Спасибо, брат мой. Э-хэ-хэ. И жизнь у человека — не жизнь, а как эта сучковатая

лестница. Когда я умру, у меня к вам одна просьба: выносите меня не ногами, а головой.

— Что ты говоришь! В самом конце удивить всех хочешь,— хитро прищурила Ранса светлые старушечьи глаза.

— Ладно. Ты права. Ну, ладно. За ваше здоровье,— Данил поднял рюмку и уже хотел выпить, но вдруг, подумав о чем-то, поставил ее на стол.

— Ты что? — удивился Илогум.

— Если моя лестница с сучком оказалась, значит, и другие могли быть с сучком. Если я свалился, то и другие могли свалиться. А вдруг кто-нибудь плохо свалится?.. Вы сидите, а я сейчас приду,— сказал Данил.— Илогум, начнем проверять с твоей лестницы. Где она у тебя лежит?

— Да не беспокойся, Данил, я ею не пользуюсь. Как сувенир берегу.

— А у тебя еще есть?

— Нет.

— Значит, не сувенир.

— Ладно, пойдем вместе,— поднялся Илогум, и они прошли к его сараю.

Илогум вынес лестницу и поставил перед собой.

— Положи, пожалуйста,— попросил Данил.— Чтоб рейки наверху были.

Улыбаясь, Илогум положил лестницу у ног старика.

Данил осмотрел и прощупал каждую рейку, для большей достоверности стал на первую и сделал несколько прыжков. Потом он посмотрел на Илогума и, точно прикинув на глаз его вес, попросил:

— Да не быть в твоей жизни тяготам, я

тебя очень прошу — попрыгай. Ты тяжелее.

— Ну и беспокойный же ты, — сказал Илогум и, смешно трясая большим животом, попрыгал на каждой рейке.

— Спасибо. Выдержит, — сказал Данил.

Илогум отнес лестницу в сарай.

— Теперь пошли к Николаю, — сказал Данил.

Николай, человек с маленькими быстрыми глазами на круглом лице, был такого же телосложения, как Илогум. Выйдя из дома на оклик Данила, он вскинул ладони и бодро поприветствовал:

— Благословен приход ваш!

— Как дела, брат мой? — спросил Николай у шедшего впереди Данила.

— Не знаю, — пожал его руку Данил.

Николай не удивился такому ответу. Он, да и все жители района знали, что иногда на вопрос: как дела? Данил шутливо отвечал: не знаю.

Кто-то однажды спросил у него:

— Данил, почему ты так говоришь? Ты ведь все знаешь?

— А я, как и все люди: про всех и про все знаю, но как у самого дела — не знаю. Да и потом, иногда ты думаешь, что дела неважные, а другой завидует. Или наоборот, — думаешь все хорошо, а оказывается — нет. Прото, какие дела у тебя сегодня, можно узнать только о-ох когда, — полушуткой ответил Данил.

И никто за все время на свой вопрос: «Как дела, Данил?» не слышал: «Хорошо». По обыкновению он отвечал: «Как всегда, живем» или еще как-нибудь...

Лестница Николая стояла сзади дома. Данил осмотрел ее так же, как илогумовскую, и попросил Николая попрыгать на рейках. Тот добросовестно потряс грузноватое тело на каждой рейке и, закончив испытание, дыша чаще, чем обычно, заверил: крепкая.

Вскоре опробовали остальные лестницы. Те тоже оказались прочными.

— Ну вот, теперь спокоен? — на обратном пути спросил Илогум.

Они вошли во двор. Сидя за столиком, о чем-то говорили Раиса, Эрув и Ида. Пирожки на блюде были плотно накрыты большой тарелкой.

— Ну и как дела? — спросила Раиса.

— Хо-ро-шо,— врасстяжку ответил Данил.

— Вы слышали? Не может быть. Как это ты вдруг ответил «хорошо»?

— Хорошо.

— Такое дело людям не сказать нельзя,— подшутила над стариком Раиса.

И действительно, скоро об ответе Данила говорили многие люди. И к этому добавляли еще, что в тот самый день маленький внук Данила привел своих друзей, и Данил сыграл на трубе. Правда, у него получалось не так, как в молодости, но зато люди с улыбкой говорили:

— Сыграл Данил. И на вопрос о делах ответил: «хорошо».

И у очень многих от этой новости веселее шли дела. Не от того, конечно, что люди были суеверны. Нет. Просто нравится людям верить в хорошее. А иначе же как жить-то нам, человекам, в этой единственной, прекрасной и всякой другой жизни.

ДУША В ДУШУ

— Миша, принеси два мешка муки. А потом можешь идти получать деньги — и домой, — молодая завмаг протянула связку ключей и весело подмигнула.

Миша вышел из магазина, развернул стоявшую рядом тележку и покатил ее к складу. Большие замки склада хорошо видны с улицы, и, прежде чем открыть их, он смотрит на прохожих, слегка откидывает назад голову, и что-то гордое приподнимается в нем: прохожие ведь не знают, что он обыкновенный рабочий магазина, и поэтому должны думать о Мише как о начальнике. И он дольше возится с большими замками, связкой ключей и уже сам верит в свою особую причастность ко всему этому, а значит, и к еще более важному...

— Все могут короли! — напевает Миша, возвращаясь к магазину. — Душа в душу, — думает он о предстоящей зарплате — своих постоянных 90 рубчиках, и прохожие кажутся родственниками, которых он давно не видел.

Перетаскав мешки, Миша вручает ключи завмагу и, словно шелуху семечек, небрежно выплевывает:

— Все в порядке.

— Ты молодец, Миша, — рука молодой заведующей легла на его плечо и он на секунду замер, чувствуя упругую тяжесть прильнувшую к нему. В голове запрыгало много добрых слов, и Миша растроганно подумал, что за свои тридцать с лишним лет он еще не видел такого «душа в душу» начальника.

Когда Миша получил зарплату и пришел домой, было самое «пивное» время.

— На,— протянул он жене деньги,— ни копейки не потратил.

Шелест девяти красных бумажек наполнял его какой-то силой.

— Дай мне два рубля,— повертевшись возле жены, протянул он руку.

— Зачем? Пить будешь?

— Да я пиво,— Миша вскинул руку.

— И рубля хватит,— жена полезла в карман халата.

— Ну еще хоть немного мелочи дай.

— Иди, иди.

— Ну что, я не имею права, что ли? Я сегодня зарплату получил,— прозвенел Мишин голос.

— На, на! — жена сунула в его ладонь монеты. По дороге Миша посчитал деньги. Кроме как на бутылку, выходило еще и на одну кружку пива. Небогато, но Миша представил наполненный красный стакан и веселее заспешил к пивной. И было самое «пивное» время. Мишины рубль с мелочью в кармане его многоцветных помятых брюк не давали покоя. Он выискал какого-то замусоленного пьянчужку и потащил его за собой к магазину.

— Угощаю. «Замочим» по стаканчику,— мигнул он.

Мужичок, словно ему сейчас должны были дать кошелек с деньгами, оживился... Пили по полстакана, после второго Мише захотелось петь:

— Все могут короли!

— Братуха, пойдем пиво пить. У меня на

кружку есть, — Миша схватил замусоленного мужичка за плечо, и они пошли к пивной.

— Здорово, братишка, — приветствовал он встречаемых. В этом районе города все хорошо знали друг друга. А каждый о другом больше, чем о себе.

— Душа в душу, — снова встретили Мишу у пивной. Он кому-то отдал деньги и через минуту втягивал в себя успокаивающие, разливавшие по телу прохладу глотки пива.

— А ну-ка спой что-нибудь, Миша, — крикнул моложе него лет на десять парень.

— Спеть, так спеть. С удовольствием...

Миша поднял руку с бокалом, выпятил грудь, которая стала похожа на узкий выгнутый фанерный лист, и тонко **вытянул**:

— А-а-а-а.

Потом тряхнул черными с сединою кучеряшками, резанул свободной рукой воздух, наклонил к кому-то плечо и затопал внутри образовавшегося круга.

— Жил да был. Жил да был. Жил да был один король...

Миша изредка останавливался, поднимал кверху руку и нараспев провозглашал:

— Все могут короли!

С выползшей из брюк рубашкой, тонкий, он казался двадцатилетним парнем. А к пивной подкатывали, уносились и снова подъезжали машины...

Мишу угостили. Вытягивая пиво из второй кружки, поблескивая кнопками глаз, он «крутил свою философию».

— Жизнь — это душа в душу. Мене денег не надо, — отвечал он кому-то.

— И миллиона ты не хочешь? — насмешливо спросил Мишин ровесник.

— Мне миллион не надо, он душу портит, — Миша с удовольствием выжидал, что ему скажут.

— Уть, Миша, ты гений.

— Я гипноз. Я все знаю.

— А почему твоя жена в два раза толще тебя? Работаешь здорово, да, Миша?

Круг заколыхался от смеха.

— Миша, а что такое любовь?

— Это душа в душу. Ты этого не поймешь. Я знаю: ты сегодня думаешь, что бы и где стянуть завтра. А я нет. У меня моя душа, — Миша похлопал по груди, — моя душа со мной — душа в душу.

Подошли еще двое. Их он знает с детства. Эти двое, вроде друзья — пузатый и другой — со стеклянным глазом.

— О, как дела, Миша? — спросил Вадим — так звали толстого.

— Сто лет тебе жить, брат мой!

— Миша говорит, что ему миллион не нужен, — кто-то захотел продолжить прерванный разговор.

— А зачем ему деньги. Он же на складе работает. У него там сахар, мука, лимонад, — сказал Вадим, вскинув руку. Миша повел взглядом по лицам. Жирные и тощие — они кривились, расплзались в довольных улыбках. Мише показалось, что его загнали, одного, в какой-то лес.

— Братишка, ты смеешься надо мной? — Миша подошел к пузатому. — Ты надо мной не смейся. Я никого не обижал.

— Да что ты. Пусть тот дня не проживет, кто над тобой смеется. Ты ж артист.

— Пх-х-х,— стеклянноглазый хохотнул в бокал.

— Это вы артисты, не я. Я гипноз. Я все про вас знаю. Думаете, если у вас машины, другие ничего не понимают. Думаете, если вы шикаете, то все?.. — Миша вскинул голову.

Вдруг толстые пальцы рванули его за ворот. Он попробовал освободиться, но в следующее мгновение плюхнулся лицом в землю.

Миша медленно встал. Не слыша протяжных, откуда-то взявшихся женских криков, размазывая по лицу что-то теплое, видел выпученные глаза пузатого и чьи-то руки, удерживавшие его. Миша мог бы сейчас кинуться, расковырять эту вздувшуюся морду, но что-то мирное вползло в него.

— Ничего,— прохрипел он.— Душа в душу,—он соединил над собой вскинутые ладони и медленно пошел от пивной. На другой стороне улицы его остановили крики. Он повернулся. На том месте, где только лежал он, барахтались два человека. Миша узнал пузатого и пришедшего с ним стеклянноглазого.

Миша еще раз провел рукой по лицу, посмотрел на свою красную ладонь и снова услышал свой голос:

— Ничего.

Почему-то ему было очень спокойно, и не было никакой обиды и злости.

«Чего обижаться на людей, они сами себя обижают»,—плыла тихая мысль. Повернувшись, Миша пошел по улице.

Был теплый нешумный вечер с улыбающимся большим лицом луны. Миша протягивал к

луне руки и казалось: она слышит песню и ей хочется, чтобы он пел.

Прохожие поворачивались в его сторону, но он не видел покачиваний их голов и улыбок. Миша видел своих детей и жену, важные замки склада. Он просто и прочно шел ко всему этому, а лица тех — пузатого и других с их завтрашними неполадками—унесли куда-то вдаль, исчезли, а он шел, приветствуя встречающих:

— Душа в душу!

ВЫБОР

Хаскиль посмотрел в небольшое окно. Двор был пуст. Он поднял стул и двумя руками вынес его из дома. Хаскиль осмотрел двор и поставил стул под окнами дома. Здесь была тень и, одновременно, грело солнце. Хаскиль сел, облокотился о спинку стула и прикрыл глаза. Ленивое тепло скользнуло к векам и стало растекаться по всему телу. Сейчас ему было хорошо, но вспомнилось почему-то недавнее раннее утро.

А было так. Неплотно сдвинутые шторы казались проемом дверей двух смежных комнат. Одной огромной там — за окном, другой здесь. В обеих жило раннее утро. Только за окном оно было светлей и уверенней, а в этих стенах еще чувствовалось беспокойство прошедшей ночи.

Хаскиль посмотрел на будильник. Начало шестого. В открытую форточку юркнул ветерок и заколыхал шторы. Они показались ему прозрачными сетями, в которых подрагивало

что-то легкое и невидимое. Это напомнило ему детство. Хаскиль с друзьями на маленькой речке. Их трое. Двое быстро ведут в воде растянутую сетку, а третий, впереди, вороочает шестом гальку дна. Они выводят сетку из воды и, увидев бьющуюся рыбку, радостно восклицают:

— Есть!

И сейчас снова утро. И шторы похожи на ту сетку, но нет прежней радости, чтобы просто сказать: есть. Есть новое утро, есть новое ожидание радости от идущей к тебе жизни. Теперь, когда он знал, сколько ему осталось, утра становились пытками...

...Хаскиль вздрогнул от звука открывшейся калитки. Это была Лие. Проходя мимо, она посмотрела на Хаскиля, и он понял ее немой вопрос. Лие теперь все же, наверное, жалела его — своего бывшего и единственного мужа. Жил с ней Хаскиль недолго — пять лет. Но за это время народили они троих детей. Потом появилась другая женщина. И он ушел к ней. Оставил всех троих детей и ушел. Один из сыновей умер в тяжелый год от голода. Сорок пять лет прошло с тех пор. А вот теперь его двое детей, уже имеющие внуков, узнали, что он умирает в другом городе, приехали и привезли его сюда, в бывший его дом. Но вчера он вдруг ясно понял: надо уезжать назад. Скорее, пока еще есть силы.

Не думал Хаскиль, что может так получиться. Последние месяцы, когда почувствовал «свой срок», стала жать его какая-то тоска. И стало тянуть его сюда, в этот двор. Чего он хотел? Чего ждал? Знал Хаскиль причину маяты своей. Прощение нужно было. Но за-

чем оно, зачем? Ведь не прибавляло оно ему ни дней, ни месяцев. И это знал Хаскиль, и все же хотел быть здесь.

И о другом думал Хаскиль. Ведь есть еще на земле и те люди, которые принесли несчастье и ему. И, может быть, стоит простить одному из них, тогда и Хаскилю простится если не все, то многое. Но случилось вчера другое.

А случилось так.

...Хаскиль вышел из переуллка и сразу увидел это длинное одноэтажное здание. Его можно было бы принять за вытянувшийся барак, если бы по обоим концам его не выступали над черепичной крышей вышки с часовыми и не вспарывали воздух несколько рядов колючей, над забором, проволоки. Это был не барак.

Здание уперлось в Хаскиля холодным взглядом решетчатых окон. Хаскиль опустил голову и пошел медленней.

Он подошел к широким ступеням, посмотрел на часы: пришел, как и намеревался, на пять минут позже. И теперь его, наверное, ждали. Хаскиль поднялся и потянул огромную ручку обитой железом двери. В приемной кроме Хаскиля никого не было. Молоденький сержант пошел к начальнику, и Хаскиль остался один в большой комнате. По всей ее длине стояли четыре ряда столов с длинными скамейками. Хаскиль хотел пройти в глубину комнаты, но посмотрел на дверь, в которой скрылся сержант, подошел к самой близкой скамье и медленно сел. Он с минуту смотрел на серость стен, сползающую к вытоптаным деревянным полам, и вдруг ему

стало казаться, что что-то тяжелое наваливается на его спину. Но Хаскиль не поднялся, так и остался сидеть спиной к двери.

Теперь ему снова все казалось нелепым и ненужным.

«А вдруг не поймет», — подумал он. И пожалел, что уговорил начальника тюрьмы разрешить встретиться с Ивилем.

Минут через двадцать раздался звук шагов. Сначала далеких, коридорно-гулких, потом, уже после взвизга открывшейся двери, неспешных и вопросительных. Хаскиль опустил ладони на колени и, словно ему было трудно повернуть тело, медленно повернул голову.

— Да, это я, — громко, расставляя слова, словно шахматные фигуры, сказал Хаскиль. Теперь он уже повернулся к Ивилю всем телом.

— Подожди, — остановил он хотевшего уйти Ивиля. — Не спеши. Может, последний раз видимся.

Ивиль вывел над плечом тяжелый подбородок и посмотрел на Хаскиля. Он помедлил еще, взглянул на сержанта и подошел к Хаскилю. Вместе с ними около Хаскиля остановился сержант.

— Десять минут разрешили, — сказал он. — Они сейчас на работе, — сержант кивнул в сторону Ивиля.

— Хорошо, спасибо, сынок, — ответил Хаскиль. Сержант отошел к дальнему окну.

— Чего хочешь? — Ивиль уколол взглядом. Хаскиль положил ладони на стол, и на исчерченном, грубом столе, ухоженные, гладкие, они показались безжизненными.

— Вот что, — начал Хаскиль, но смолк, про-

вел взглядом по черной с измятым воротником куртке и на секунду задержался на залоснившемся, когда-то, наверное, белом прямоугольном лоскутке с цифрой 5.

— Вот что,— продолжил Хаскиль,— тогда ты жестоко обошелся со мной, но что ж, сколько воды утекло уже. Лет шесть прошло, наверное. Теперь не хочу я помнить о том. Когда выйдешь отсюда, запомни: Хаскиль простил тебя.

Хаскиль увидел сверкнувшие глаза Ивиля, словно в них что-то неожиданно вспыхнуло и загорелось.

— Прощать при-и-ше-е-ол,— поднимавшимся голосом потянул Ивиль.— Там, на суде, нужно было прощать, когда от тебя зависело, сколько гудеть мне!

И вдруг, словно увидев что-то неожиданное, новое, осекся, замер и снова вытянул:

— Знаю, чего ты пришел. Вон какой у тебя цвет лица. Смерть почуял и приперся. Не нужно. Без тебя свос отбарабаню.

Хаскиль вздрогнул.

Но голос Ивиля рвался сильнее:

— Да я не жалею, что обчистил тогда тебя. Проща-а-ть пришел! А чем ты лучше меня? Что на тебе этой робы нет и что этого номера не таскаешь? Да ты такой же ворюга, как и я! Только хуже еще. Я ведь тяну лямку, а ты — нет. Ты вон сколько семье своей навредил, а другим семьям?! — Ивиль уже почти кричал.

— Заключенный номер пять! — хлестнул Ивиля громкий голос сержанта. Ивиль опустил голову и сгорбился.

— Мне бы уйти сейчас и не разговаривать

с тобой, мальчишкой. Но учти: и к тебе придет последний час, тогда ты вспомнишь о том, что жестоко обидел меня и во второй раз, что большое зло ты мне сделал,— сказал Хаскиль.

Ивиль вскинул голову.

— А ты не боишься? Ведь выйду, а потом — бац, и твоих детей обворую. А-а? Ты ведь меня простил, так и другой кто-нибудь простит.

Хаскиль отшатнулся и вдруг ясно услышал ту холодную мысль, которую он прятал от себя.

Лицо Ивиля стало куда-то уходить, но Хаскиль сжал ладонями лавку, увидел остановившиеся глаза Ивиля, тяжело поднялся и пошел к двери...

...Хаскиль почувствовал, как горит его голова. И только посмотрев в сторону, он увидел, что тень уже далеко ушла от его стула, и он, наверное, долго просидел под солнцем. Он поднялся и понес стул ко второму дому, стоявшему во дворе. Один — маленький был — Лис, а в этом, большом, со своими сыновьями и внукам жил старший сын Хаскиля.

Хаскиль поставил стул под одним из окон и в открытую форточку услышал тоненький плач.

— Тимка плачет,— сядь на стул, подумал Хаскиль,— мой правнук, — горечью окончилась мысль.

Правильно говорят люди: внуки слаще детей своих. А почему так? Наверное, живет в человеке неистрачиваемым запасом нежность. Отдаешь ее, но она снова, — словно не тронута. И требуется человеку отдавать и отдавать. Это можно сравнить только разве с

материнской грудью. Тут сама природа наливает ее нетерпеливой живительной упругостью. И если вдруг случается так, что некому вобрать в себя эту жизнь, она сгорает. Так и с нежностью. Так и с детьми и внуками. Мал человеческий век, но очень крохотное время дано, чтобы дети могли принимать нежность. Они взрослеют, уходят. Но человек еще не растратил и мизерной доли данной ему нежности, и тогда приходят внуки. Но и внуки взрослеют, тогда, если бог даст жизни, приходят правнуки. И у Хаскиля они есть. Но — чужой он все же для них. Хотя бы только потому, что не передали его имени внукам. Так и забудется его имя — Хаскиль. Хотя его никто в этом доме не обижает, не упрекает, чувствует он отчужденность. И теперь ему уже никогда не разорвать этой завесы.

А из комнаты все еще слышался Тимкин плач.

— Пойду посмотрю,— решил Хаскиль. Он зашел в комнату и увидел стоявшего лицом в угол правнука. Напротив, на диване, сидела его мать, молодая красивая женщина. Она привстала навстречу Хаскилю, предложила сесть, и раздраженно крикнула Тимке:

— Не три глаза! И не ной!

Тимка успокоился и, не поворачиваясь, протянул:

— Я больше не буду.

Хаскиль увидел, как женщина старается сдерживать улыбку, и понял: она специально задерживает ответ. Тогда, немного переждав, Тимка повернул измазанное лицо и спросил:

— Выходить?

Хаскиль рассмеялся с Тимкиной мамой и сквозь смех проговорил:

— И знает же этот двухлетний сорванец, что рано или поздно — простят!

Вдруг Хаскиль оборвал смех, вышел из дома, и перед ним встало случившееся после того, как он вернулся от Ивиля.

А так это было. Хаскиль открыл калитку и, стараясь никого не увидеть, прошел к домику Лие, где теперь его поселили. Он сел у стола в передней комнате и откинулся на спинку стула. Лие не было. Хаскиль вытянул ноги, они ныли. Болело сердце.

«Надо выпить лекарство, вымыть ноги и лечь», — подумал Хаскиль. Он расстегнул рубашку, снял туфли и носки. Зашла Лие, мельком взглянула на Хаскиля и прошла во вторую комнату.

— Постели, — сказал Хаскиль ей в спину. Она остановилась и спросила:

— Чаю налить?

— Нет, — ответил он быстро.

Лие пожала плечами.

— Вот ты сейчас и постелишь мне, — думал Хаскиль, слыша хлопки взбиваемых подушек, — и чай нальешь, если захочу. Стоит только захотеть. Захотеть.

— Лие, — позвал Хаскиль.

Она подошла.

— Ноги болят. Помоги помыть.

Хаскиль увидел усталые, ставшие от этого безразличными, глаза. Лие ничего не сказала. Возвратилась она с тазом, наполовину наполненным водой, поставила его у ног Хаскиля.

А зверек тот все больше метался в голове Хаскиля, становясь злее и злее. Хаскиль рез-

ко сунул ноги в воду, выплеснув ее на пол. Лие вернулась. Затем принесла полотенце, кусок мыла и старинный, отливавший серебром кувшин. Поставила кувшин, перебросила полотенце через плечо, наклонилась. Хаскиль увидел белые, аккуратно уложенные на затылке волосы, руки, которые на секунду застыли над тазом, а потом вошли в воду.

Он хотел что-то крикнуть, но из горла вырвался какой-то хрип. Хаскиль ударил ступней по тазу, вода брызнула Лие в лицо. Она отшатнулась, выпрямилась и, не вытирая стекавшую с лица воду, смотрела на Хаскиля. Он завалился на спинку стула и только смог крикнуть:

— Уйди! Уйди! Мне ничего не надо! Не на-до!...

...Хаскиль ходил по двору и снова говорил себе: уезжать надо, поскорее, пока не поздно. Дорога займет часа три, и он успеет добраться до своего города, дома. Но знал Хаскиль и другое: если уедет он, по этому маленькому городку разнесется слух, что Хаскиля выгнали.

Не дали старику, — скажут люди, — умереть в своем доме. Хаскиль представлял множество шепчущихся за спинами его детей лиц и понял: теперь он ни разу не сможет подумать о своем отъезде.

Умер Хаскиль на следующее утро.

...Тело Хаскиля стало **вздрагивать** из-за неудержимо вбиравшегося **холода**. Он позвал сына и успел прошептать:

— Я хотел...

Но договорить он не смог, **хотя** губы его, **похожие на жухлые, свернувшиеся листья**, продолжали шевелиться.

Тихая волна подняла и понесла Хаскиля. Он увидел какую-то комнату с огромным диваном. На нем сидело много людей. Он повернул к ним свое почерневшее лицо, и люди, протягивая к нему руки, стали смеяться. Из открывшегося рта Хаскиля вырвался и потянулся долгий крик:

— Выходить?! Выходить?!

Люди смеялись, тянули его за руки, Хаскиль хотел сделать шаг, но, словно приросшие к полу, ноги не слушались его...

СТАРЫЕ КАРТИНКИ

**История о том,
что всем в этом мире, увы,
не угодишь**

Однажды случилось так, что не успели Бэбэ и Бирор возвратиться к вечеру в Нальчик. Уже поблескивали в ночном небе холодные ясные звезды, а арба друзей еще только въезжала в далекое от города село. И лишь тускло мерцающие огоньки домов, да дружный, отчетливо разносившийся в ночи лай собак встречали гроыхающую по сельской дороге арбу друзей. Но на душе у них было спокойно и тепло, ибо знали Бэбэ и Бирор, что горцы — народ гостеприимный и всегда рады хорошим людям.

— Ты здесь кого-нибудь знаешь? — спросил Бирор.

— В лицо, может, да, а так — нет.

— Тогда давай попросимся к ним; — показал Бирор на светившееся по правую руку

окно дома; потянул вожжи, и верный друг Хар, которому не терпелось поскорее добраться до порции сена, почуяв, что они уже у цели, послушно повернул и остановился у плетеного забора.

Звяканье цепи и матерый лай рвались в сторону арбы.

Бирор несколько раз крикнул хозяина, но голос его был заглушен лаем пса.

Скоро со двора слышался мужской окрик, собака повиновалась ему, и лай сменился ослабленным звуком волочащейся по земле цепи.

— Кто это в такой час? — приблизился голос.

— Свои, — ответил Бирор.

После недолгих переговоров арба друзей въехала во двор. Хар нашел пристанище, сено и на ночь простился со своими друзьями.

При свете лампы, сидя за низеньким столиком, наблюдали Бэбэ и Бирор за горбоносым, широкоплечим стариком.

— Извините меня, дети мои, — говорил он. — Вы так поздно, что приготовить вам что-нибудь получше я не могу.

— Что ты, отец, это ты извини нас за беспокойство! — воскликнул Бирор.

Старик положил на стол три лакума и три яйца, поставил стаканы, рядом с табуреткой чайник и сел к друзьям.

— В Нальчике живет один такой Амирбек. Может, слышали что о нем? — спросил он, сцепив грубые, толстокожие пальцы.

Друзья удивленно переглянулись, и быстро шепнул на своем языке Бэбэ:

— Кажется, он моего отца имеет в виду. В селениях его так и называют. Но только не говори, что этой мой отец. Вдруг что-нибудь такое... Уж лучше пусть он не знает.

Бирор легким кивком головы дал знать, что это останется тайной до самой могилы, и сказал:

— А как же. Знаем Амирбека. Это мой отец.

— О, какая встреча! Сынок, дорогой, как ты вырос! Ты, наверное, меня не помнишь? Я не один раз бывал в доме твоего отца, моего друга и брата Амирбека! — воскликнул растроганно старик и поспешил прижать щеку Бирора к своей колючей бороде. Пришлось Бирору рассказать все последние новости о жизни отца Бэбэ.

— Да, я горжусь своим отцом! — закончил он, специально обращаясь уже не к старику, а к Бэбэ, и еле сдержал смех, увидев в тусклом свете лампы потускневшее лицо друга. А когда счастливый старик придвинул Бирору из трех лакумов и трех яиц по два, лицо Бэбэ скисло совсем.

А радость старика не уменьшалась. Он принес откуда-то бутылку самогона и выпил с Бирором почти по полному стакану.

В довершение всего Бирору была постелена с высокими перинами и белоснежными простынями постель, и, опершись о локоть, гордо, по-хански, взирал он со своей высоты на приютившегося на тахте Бэбэ.

Утром, когда арба друзей весело тряслась по дороге, уходящей из села, Бирор, хитро сощурив глаза, почесал переносицу и, словно невзначай, сказал уставшему Бэбэ:

— Да-а-а, я никогда в жизни не был благодарен так твоему родному отцу Амирбеку, благодаря которому мне так сладко привелось провести ночь в пуховой постели.

— Ничего,— мстительно проворчал Бэбэ.— Моего отца знают не только в этом селении.

И сбылись слова Бэбэ.

Через несколько дней снова застала их ночь на краю одного села. И в этот раз получили ночлег Бэбэ и Бирор. А когда на стол была поставлена еда, Бэбэ с многозначительной усмешкой посмотрел на Бирора и сказал хозяину:

— Вы может быть слышали о таком Амирбеке из Нальчика. Так это мой отец.

Победно сверкнули в тусклом свете лампы его глаза, но через некоторое мгновение потухли они, ибо встретились с хмуро пронесшимся взглядом хозяина, который, многозначительно сказав: «Слышали, слышали мы о таком», почти всю еду подвинул к Бирору. А кроме этого, и на этот раз уплыла от Бэбэ мягкая чистая постель...

Утром, когда арба друзей весело тряслась по уходящей из села дороге, увидев усталые, прикрытые веки друга, Бирор обнял одной рукой его за плечи и, рассмеявшись, сказал:

— Не расстраивайся, брат мой. Просто в этом мире всем не угодишь.



**История о том,
что и осел не всегда осел,
а если уж он ваш друг, в том он не виноват**

Всему на свете приходит конец. Так случилось и с Бэбэ и Бирором: уговорили их все же жениться.

Первым сдался Бэбэ. А что оставалось в этом случае Бирору? Только поддержать друга.

Раз мужчина дал слово — надо выполнить. И стали в домах Бэбэ и Бирора готовиться к свадьбам.

Ну, раз свадьба, своя семья, решили друзья поделить меж собой все заработанное в честных трудах. С деньгами было просто: копейка — тебе, копейка — мне; две — тебе, две — мне. И все дела. Сложнее оказалось с ослом Харом. Сначала решили Бэбэ и Бирор продать его. И на базар привели, и хороший покупатель отыскался, и уже деньги в кармане были. Но когда рука покупателя взяла узду и повела осла, ослабели сердца Бэбэ и Бирора, словно по их вине уходил в последний путь лучший товарищ. А как быть? Ведь пять минут назад они так расхваливали Хара, что в глазах покупателя он стал выглядеть чуть ли не аэропланом. Какой же осел вернет назад такого осла?

— Брат мой, подожди! — вдруг крикнул Бирор. — Подожди! Не торопись!

Подбежали Бирор и Бэбэ к покупателю, и, брезгливо ткнув пальцем ослу в ухо, затараторил Бирор:

— Посмотри, брат мой, какие у него уши, ну разве у нормальных ослов такие бывают?

А морда? Длинная, как у нашего друга Шима. А Шим совсем ненормальный. Если бы ты знал, какая у него жена. В дом к нему не войди. Вина не выпей. Если бы хоть сама что-нибудь представляла, а то... страшно сказать. Лучше не скажу, а то приснится, и не то что осла, вообще пропадет охота покупать что-нибудь. И как только Шим живет с ней? Высох бедняга весь. Во какой стал,— Бирор вскинул суковатый палец.— Понял? Ты его если увидишь — сразу узнаешь. Так он завтра и горбатым станет и кричать как тот Хар будет. Так что не достоин этот старый баран служить такому уважаемому хозяину, как ты. Возьми свои деньги. На свете ослы пока еще есть. Найдешь себе.

Бирор быстро сунул в руку растроганного покупателя деньги, взял узду и повел Хара за собой.

— Ну что будем делать? — спросил Бирор, когда позади остались базарный шум и толкотня.

— Не знаю. Дойдем сначала до дома, а там посмотрим...

Цокают о булыжную мостовую копыта Хара, и идут, свесив головы, Бэбэ и Бирор. Скоро показался знакомый угловой дом. Свернешь — и через несколько шагов дом Бэбэ, а пройдешь чуть дальше и свернешь еще раз — там улица Бирора.

В переулке, у деревянных скосившихся ворот приметил Хар траву и, точно больше ничего и никого на свете не было, затрусил к ней.

— И зачем мы его не продали? — огорчился Бэбэ такой непочтительности Хара.

— Кто может предугадать поступки осла? — оправдался Бирор.

— Ну что ж мы теперь с ним будем делать? И продавать жалко. И просто так отдать тоже жалко.

Бирор развел руками.

— Пстой, — вдруг обрадованно сказал он. — Ты прав: и продавать жалко, и отдавать жалко. Пусть он останется у кого-нибудь из нас. Вот смотри: живет он у тебя. Допустим, соскучился я по тебе, прихожу, смотрю на Хара, и его один только вид мне сразу напоминает обо всех наших приключениях. А-а?

— Пусть — тебе осел родней будет, — обиженно прогудел Бэбэ.

— Ну ладно, хорошо, пусть мне. Но что ты об этом думаешь?

Бэбэ несколько секунд смотрел на чамкающие губы Хара и сказал:

— Правильно. А останется он пусть тебе.

— Ты что? Так не пойдет. Надо честно. Я придумал. Давай по очереди будем звать его. На чей голос придет — у того и будет жить Хар. А-а?

Бэбэ почесал в тяжелом затылке и сказал:

— Правильно придумал. Начинай.

— Нст. Ты старше меня, ты и начинай. А то я позову, а он возьмет и придет. Мне неудобно будет. Зови первым.

— В том-то и дело, что старший. А вдруг, я позову, и он ко мне придет? Что тогда люди скажут, а-а? Скажут, что младшего друга, брата обидел. Нет, говори первым ты.

— Ни за что. Пусть моя свадьба не состоится, если я тебя обижу.

— А моя что — хуже? — Бэбэ хитро показывал толстым волосатым пальцем.

— Не хуже...

— Нет,— говорил Бэбэ.

— Ты,— отвечая Бирор.

— Ни за что в жизни! — сопротивлялся Бэбэ.

— Ты! — наступал Бирор.

— Что б я обидел тебя? Ты что! Помнишь, как ты меня спас, когда я чуть не утонул? Ты что?

— А ты забыл, как благодаря тебе моя голова целой осталась? Если б ты не вмешался... Эх, чтоб тогда без меня моя мать делала? — растроганно сказал Бирор. — Да-а-а. Не буду, конечно, обманывать, не скажу, что она тебя больше любит, чем меня, но, клянусь, не меньше. Слышишь, Бэбэ, пойдем к нам. Мать обрадуется. Посидим. Выпьем по стаканчику. Пошли, а?

— Ну что ты? Конечно, пойдем, — растрогался и Бэбэ.

В глубине двора, под тутовым деревом, на тахте сидела мать Бирора и что-то шила.

— О-о. Женихи пришли. Радостен приход твой, Бэбэ,— поднялась она навстречу друзьям.— Проходи, Бэбэ. проходи. Какие вести из вашего дома?

— Живем! — весело прогудел Бэбэ, чувствующий себя в доме друга, как в своем...

После второго стакана Бэбэ фыркнул и потряс головой.

— Не быть моему отцу в трауре, точно как наш Хар,— загоготал Бирор и, вдруг оборвав смех, посмотрел на Бэбэ и увидел, что и его глаза настороженно напряглись.

— Подожди,— продолжая медленно жевать, сказал Бэбэ,— а наш Хар ведь там остался?!

— А-а. Не переживай. Его весь город знает. Если заблудится, кто-нибудь да и привсдет. Но только это не такой осел, чтоб заблудиться.

— Нет, подожди. Нельзя так. Заблудиться не заблудится, но что люди скажут?

— А что они могут сказать: бедные Бэбэ и Бирор — совсем замучил их этот ишак.

— Нет. Мы с тобой уже взрослые люди, Бирор. Пошли.

— Куда же, не поевши? — всплеснула руками мать, увидев встающих из-за стола друзей. Бэбэ посмотрел на друга растерянными большими глазами..

— Да мы скоро. Только сейчас вспомнили, что одного товарища найти надо, — виновато ответил Бирор.

За поворотом остолбснели: Хара не было видно.

— Говорил же тебе,— прогудел Бэбэ.

— Да стой ты,— озирался по сторонам Бирор.

— Стой не стой, а теперь на Хара не сядешь,— проворчал Бэбэ и медленно пошел к скривившемуся забору, у которого бедный Хар щипал зеленую травку.

— Тьфу,— остановился он вдруг: недалеко от забора, отгоняя хвостом мух, возлежал на боку Хар.

Бирор сорвал с тополя ветку, очистил ее от листьев и быстро пошел к нему.

— Это — тебе, осел, осла порождение,— стеганул он Хара.

Медленно поднялась серая, с желтоватомутными глазами голова, равнодушно осмотрела нависшие над ней злые лица Бэбэ и Бирора и снова завалилась на пыльную мостовую.

— А ну вставай, собачий сын,— еще больше разозлился Бирор и снова стегнул осла.

— Чего он хочет? — весело проходили знакомые.

— Как чего? Он у нас очень умный. Не видите, что ли. Вы, говорит, за день очень устали, отдыхать нужно, да и жара какая! — Бирор снова стегнул Хара.

Вдруг осел вскочил и, цокая копытами, легко затрусил по булыжной мостовой.

На жаркой улице, спрятавшись в тени дерева, сидели, рассуждая о делах, старики.

— Эй, что вы это делаете? — с улыбкой крикнул один из них бегущим за ослом Бэбэ и Бирору.

— Как что? Осла бегать учим. Скоро ослиные соревнования будут.

А отдохнувшего Хара, как ни пытались Бэбэ и Бирор,— остановить было невозможно, и он настойчиво кружил по одним и тем же улицам.

— Если ты не осел, то почему бежишь мимо одних и тех же людей?! — не выдержал и закричал ему вслед Бирор.

И вдруг, словно поняв слова Бирора, Хар свернул за первый поворот и, пробежав немного, остановился у старого тополя.

— Опять ему что-то взбрело на ум,— тяжело дыша, проговорил Бэбэ.

Хар повернул морду и вдруг во всю свою

ослиную силу, взхлеб заревел: «И-их-га-а, и-их-га-а».

— Молчи! — озираясь, крикнул Бирор и удивленно замер.

— Бэбэ, брат мой, посмотри, куда он нас притащил, — медленно проговорил он, кивнув на ворота, против которых они стояли.

— И вправду. Это ведь дом старика Казбека, — ответил Бэбэ, удивленно переводя взгляд с Хара на маленький саманный домик, в который частенько заходили Бэбэ и Бирор, чтоб отведать стакан-два самогончика. Но, подумав о чем-то, Бэбэ мрачно выпятил губы и, кивнув на Хара, произнес:

— Враг он нам. Знает, что через несколько дней свадьба — и решил спить.

— Точно. Враг. Бить его надо, — замахнулся Бирор, но опустил руку и, уводя взгляд от Бэбэ, вздохнув, продолжил: — Враг-то он враг, но, мне показалось, старик Казбек заметил нас. Уйдем — обидится, а?

Бэбэ по привычке перед тем, как принять важное решение, почесал в своем тяжелом затылке.

— Да-а-а. Ну теперь что ж, раз заметил, то придется зайти, — мудро кивнул он несколько раз головой.

Через полчаса из двора старика Казбека, покачиваясь, в обнимку, вышли Бэбэ и Бирор. Бирор разводил рукой, поворачивал к себе друга и, стуча пальцем по его широкой груди, восхищался жизнью:

— Эх, какью, хоршью жысс челвеку бог придумал. Ла-а?

Бэбэ вбирал его в свои широкие объятия и чмокал в обе щеки.

— А за это мы не пили. Пшли,— вскидывал руку Бирор.

— Нет. Домой. Вишь,— качнул головой Бэбэ и показал на Хара.

— Вижу. Кажется мне, Хар привел еще одного. Вишь?

— А мы хотели продать. Как же так, Бирор?! Мы хотели продать. Разве мы люди? А?

— Ага. Ты на одного, я на другого. Пшли,— махнул Бирор рукой.

Они подошли к Хару с обеих сторон, попытались влезть, но стукнулись лбами и коленями.

— Бэбэ, убери своего осла,— попросил Бирор.— Он мешает.

— Сейчас мы проедем. — Бэбэ продвинулся к гриве Хара и закинул ногу.

— Вот теперь нормально,— Бирор влез на Хара сзади друга, и Хар, точно только этого и ждал, степенно пошел по мостовой.

...Бирор проснулся от чавкающего звука, словно кто-то около его уха в порванных башмаках переминался с ноги на ногу. Сначала он увидел морду Хара, что-то усердно пережевывающего, потом Бэбэ, лежавшего с ним рядом на тахте; осторожно откинул одеяло и заметил мгновенно открывшиеся глаза друга.

— Ты уже не спишь?

— Э-э-э,— потянулся Бэбэ.

Оба сели, посмотрели друг на друга — и в утренней свежей тишине покатылся по двору их смех. Из дома вышла мать Бэбэ, покачала головой и сказала:

— Что смеетесь? Хорошенькие же вы были

вчера. Если б не Хар, не знаю, как бы вы добрались. Сидим вечером, смотрим: открывается калитка и входит Хар, а на нем еще два Хара. Сами на осле еле держались, да еще и песни пели. Пришлось вас здесь во дворе и уложить.

— Ну, ничего, мы больше не будем,— оправдался Бэбэ перед матерью. А когда она отошла, Бирор посмотрел на друга, потом кивнул в сторону Хара, хитро почесал переносицу и сказал:

— Как ты думаешь, Бэбэ, а почему бы нам снова не купить арбу? А-а?

— Правильно говоришь, действительно, что он один... без арбы? А мы без дорог... Ну что, после свадьбы -- за арбой?

— За арбой.

ЩЕЛБАНЫ

На второй десятиминутной перемене Сашка бегал домой, успевал на ходу перекусить и приносил орехи.

Они были большие и вкусные, острые в концах, точно слепленные из двух лодок.

Сашка и сам был похож на крупный крепкий орех и считал себя самым сильным в своем четвертом «Б» классе. Впереди него, на третьей парте, сидел Семка — черноволосый с щуплым затылком.

В начале урока Сашка клал на передний край парты орех и тайком от учителя толкал Семку в плечо.

Не поворачивая спины, тот оглядывался и неизменно видел громадный орех.

Семка любил орехи, тем более к третьей перемене ему уже хотелось есть, а денег у него часто не было.

Не было их постоянно и у Семкиной матери. Потому что ее зарплаты на троих — на себя, Семку, его брата Лешку — обычно не хватало.

А отца у Семки не было. Вернее, прошло уже два года, как отец уехал к какой-то женщине.

Прозвенел звонок, вышел учитель, и класс стал похож на большую коробку с окнами и скачущими в ней бело-синими мячиками.

— Хочешь? — спросил Сашка, подбросив на ладони орех.

Вздыхнув, Семка кивнул головой.

— Три щелбана, — поставил свое обычное условие Сашка.

Они вышли из класса, остановились в углу коридора.

— Давай, — вскинул подбородком Сашка и поднял руку.

Семка закрыл глаза и подставил лоб.

— Раз! — щелкнул Сашка и, попружинив рукой, точно желая усилить удар, щелкнул еще раз.

— Два!.. Три-и!

Семка почесал лоб и взял орех.

— Еще? — спросил Сашка.

Семка посмотрел на орех и, снова вздохнув, кивнул головой.

— Подставляй, — довольным голосом сказал Сашка и занес руку.

— Раз!.. Два!.. Три-и! — последний щелбан он старался нанести сильнее.

Семка забирал орех, а Сашка доставал другой:

— Еще?

— Последний, — соглашался Семка и, получив девятый щелбан, забирал третий орех, выходил из школы и, найдя камень, где-нибудь в стороне раскалывал орехи.

На соседней с Сашкиной парте сидела коротко стриженная, светловолосая Таня. Сашка любил ее.

И перед началом каждого урока, в те секунды, когда учитель проходил от двери к столу и разрешал садиться, Сашка брал Танину руку, и они так стояли, глядя вперед, перебирая теплые пальцы друг друга.

Однажды, когда Сашка в четвертый раз выменивал орехи на щелбаны, Таня заметила это.

— Как тебе не стыдно! — сказала она, когда Семка ушел. — Их и так отец бросил.

— Кого? — спросил Сашка.

— Семку, его маму и его брата.

В начале урока Сашка, как всегда, коснулся ее ладони, но Таня отдернула руку. Почти весь урок Сашка смотрел на Семкин затылок и заметил, что у него он какой-то щуплый.

На следующий день Сашка набил свой портфель орехами и яблоками и, дождавшись перед уроками Семку, сказал ему:

— Надо поговорить. Как мужчина с женщиной.

Они зашли в лестничный тупик.

— Ты на меня не обижайся, — попросил Сашка. — За орехи.

Семка отвел глаза.

Неожиданно Сашка присел на корточки и, подставив лоб, сказал:

— Бей! Двадцать щелбанов!

Семка растерянно смотрел на круглое Сашкино лицо.

— Как мужчину прошу! Бей!

Семка поставил портфель к ноге и, удивленно глядя на Сашку, замер.

— Бей же!

Семка занес руку над Сашкиным лбом и вlepил щелбан.

— Раз! — посчитал он.

— Сильнее! — Сашка зажмурил глаза.

— Два!

— Та-ак!

— Три-и!

— Во-от! — зажмуренное Сашкино лицо стало расплываться в улыбке.

— Четыре! — улыбнулся и Семка.

— Пять!

Сашка открыл глаза и, встретившись с веселым Семкиным взглядом, рассмеялся.

— Давай, — хохоча сказал он.

— Шесть! — щелкнул Семка по прыгающему от смеха Сашкиному лбу и рассмеялся сам.

— Сильней! — крикнул Сашка.

— Семь! Хватит, — хохоча, Семка держался за живот и, кажется, не смеялся так уже целых сто лет, с тех пор как папа ушел к другой женщине.

РАЗ! ДВА! ТРИ!

Белая «ноль одиннадцатая» шла по улице легко и величаво. Асой представлял со стороны сверкающую под солнцем свою машину и специально сегодня не давил на газ.

Именно сегодня: день приятный, теплый и — главное — впереди встреча с невестой. Сегодня они подадут заявление в загс. Он с Жанной и его друг Офтум со своей невестой. А сейчас они с Офтумом едут к своим будущим женам. Величаво идет машина, улыбается день и звучит в салоне музыка.

Асой посмотрел на друга. Важно, откинувшись на спинку сиденья, после долгой затяжки он медленно выводит руку в окно, легким и небрежным ударом пальца стряхивает пепел.

Казалось, будто не кто иной, а именно он, Офтум, только-только создал землю, воздух, человека и все остальное и теперь, осматривая свое создание, приходит к снисходительно-гордой мысли:

— Да, ничего лучше и не придумаешь.

Асой засмеялся сверхважному горбоносому профилю друга.

— Что увидел? — повернулся тот, готовый присоединиться к смеху, но, уловив в карих, чуть раскосых глазах Асою насмешливые искорки, насторожился.

— Ничего. Просто у тебя такой вид, что ограбить хочется, — ответил Асой.

— Молчи, салабон!

— Слава богу, что ты родился раньше всего на три дня, а не на четыре.

— Рули, рули. А то вместо двух пар сегодня в загс попадет одна,— добродушно пригрозил Офтум и легко ударил пальцами по брелку — пушистому зеленоглазому котенку, висевшему под зеркалом.

— Ты лучше скажи, почему эту кошку нацепил? И там,— усмехнулся Офтум и повернулся к заднему стеклу, в углах которого, кивая мордами в такт езды, полулежали два плюшевых рыжих кота.

— К хорошему это не приведет. Хоть бы одна. А тут — сразу три.

— Не ной. А то высажу, и ни в какой загс ты сегодня не попадешь.

— Не быть моему отцу по мне в трауре, но как время бежит. Кажется, совсем недавно я тебя из роддома на этих руках выносил. А потом танцевал и на радостях детишкам конфеты раздавал. А теперь смотри — жених. Сегодня вместе со мной в загс идет. Радуюсь я за тебя. Только старших уважать надо. Если бы я не нашел тебе невесту, не было б для тебя сегодняшнего дня.— Офтум покровительственно вскинул руку, потом нажал на кнопку магнитофона, переключил кассету, и в салоне зазвучала танцевальная кавказская мелодия.

— Так что спасибо мне скажи, что будешь на своей свадьбе пить.

— Еще до загса доехать надо.

— Доедем. И заявление подадим и вместе две свадьбы сыграем,— Офтум похлопал по плечу Асою.

Машина подходила к повороту. Асой снизил скорость. «Жигули» легко вынырнули из-за угла.

— Ну вот, почти и подъехали к твоей Жанне,— весело сказал Офтум и ткнул пальцем в стекло,— смотри!

На тротуаре чинно сидели три пса. Машина поравнялась с ними.

Вдруг Офтум высунул голову и зарычал:

— Р-рр, гавв!

Собаки угрожающе осклабились, но оставались на своих местах.

Тогда Офтум снова, но чуть злее, подразнил их.

Псы озлобились больше, но продолжали сидеть.

Офтуму это показалось обидным, он приоткрыл на ходу дверь и, словно царапая воздух растопыренными пальцами, загавкал и зарычал с большим усердием.

Псы не выдержали этого неожиданного оскорбления среди такого прекрасного весеннего дня, бешено сорвались с места и ринулись к дверце Офтума.

Он захлопнул ее и теперь, уже в окно, еще раз подразнил собак.

Подняв ожесточенный лай, они неслись за сверкающим, наполненным танцевальной музыкой «жигулёнком».

Асой сначала смсялся, но, заметив, что псы не отстают и, извергая бешеный лай, несутся с обеих сторон машины, озабоченно посерьезнел.

«Жигули» подъезжали к дому невесты Асои.

— Надо было тебе это? На руках держал... конфеты давал...— недовольно пробурчал он.

Машина остановилась, Асой выключил магнитофон, зажигание. Через несколько

мгновений у обеих дверей и впереди машины встали псы.

Асой и Офтум, словно сговорившись, быстро завращали ручками стеклоподъемника, закрыли окна.

— Ну что? Догавкался?! — раздраженно спросил Асой.

— А что я? — виновато посмотрел в сторону Офтум.

— А что-о? Выходи теперь.

— И выйду, — он щелкнул дверной ручкой, но, услышав убедительное рычание, прихлопнул дверь.

— Шумит, зараза, — вздохнул он. — Попробуй ты. Ты ж не дразнил. — Асой осторожно потянул ручку, но в ответ увидел зло обнажившиеся желтые, острые клинья зубов.

— Со-участник, — засмеялся и мгновенно виновато смолк Офтум. Некоторое время сидели молча.

— Может, напугать их, — рассеянно сказал Асой, достал из-под сиденья топорик, и пригрозил псу.

— Видишь!

— Уа-а-а, — вывела кверху морду и равнодушно зевнула собака.

— Эх, — решительно сказал Офтум, чуть приоткрыл окно и крикнул:

— Пошел.

Пес гавкнул.

— Молчи, — рванул за руку Офтума Асой и кивнул в сторону ворот, — Жанна услышит. Не дай бог, выйдет. Тогда что?.. Конфеты раздавал... В роддом ездил... Только барану придет в голову перед загсом собак дразнить. Умный так не сделает... Гр-рр...

— Давай вперед! — вдруг радостно воскликнул Офтум.

— Что вперед? Не видишь, что ли? — Асой показал на собаку, сидевшую перед машиной.

— Испугается! Убежит! Включай!

Асой включил зажигание, осторожно тронул машину. Прошли метр. Раздался лай. Асой резко выдал педаль тормоза.

— Не уходит. Задавлю так.

— Слушай, давай назад! — снова обрадовался Офтум.

— Там тоже сидит, наверное. Они не дураки.

— Стой, а разве их не три было?

— По-моему, три.

— А если четыре?

— Включай! Три! Это точно!

Асой включил зажигание, четвертую скорость, машина пошла назад, и снова раздался лай.

— Четыре! — затормозил Асой.

— Бедному жениться и ночь коротка.

— Давай еще! Может, эта не выдержит, — воодушевлял Офтум. — А может, она пролезет, как под танком?

Асой выжал сцепление, сдал назад, но снова раздался отрывистый лай.

— Не уходит.

Заглушили мотор.

— Хорошо, что дом у них не с улицы. Не дай бог, Жанна бы вышла. Эх, и достался же мне друг, — Асой посмотрел на часы. Неумолимо быстро совершала свои круги секундная стрелка.

Асой крутанул висящего под зеркалом ко-
тенка.

— Стой! — воскликнул Офтум. — Я придумал. Голова моя умная! — Он поцеловал сведенные вместе кончики пальцев и потом приложил их ко лбу, точно передал поцелуй своей голове.

— Может, не надо, — усмехнулся Асой.

— Ну хорошо, хорошо. Виноват я! Думаешь, мне самому в загс не хочется?! Еще как. И пойдем мы. Увидишь. Слушай. Скажи: любили когда-нибудь собаки кошек?

— Не морочь голову!

— Любили?.. Нет! А наоборот — тем более... Понял?

— Понял, что с тобой делать надо.

— Подожди. У нас остался один выход. Берем всех твоих кошек. — Офтум показал на брелок и на заднее стекло. — Показываем им. Собаки начинают злиться, а мы открываем окно и раз — выбрасываем. Собаки за кошками, а мы тоже хоп — и во двор.

— Да-да, во двор... Эти кошки, с магарычами, мне в сто рублей обошлись. Два дня их обмывали... Это тебя надо бы подальше...

— Тогда выбирай: или твои дохлые кошки, или невеста.

Асой представил Жанну в фате, белоснежном венчальном платье.

Рядом с ней на высоком табурете восседают три отливающих золотом кота. Жанна протягивает к Асою ладони, но он отводит их, бережно берет на руки котов.

Невеста в горечи и отчаянии срывает фату, обручальное кольцо, рыдая делает несколько быстрых шагов и вдруг отрывается от земли. Асой рассеянно отбрасывает котов, тянется

за Жанной, но поздно. Она взлетает в небо и растворяется в облаках...

— Давай! А если не клюнут? Видишь, какие умные.— махнул рукой Асой.

— Если уж собаки за кошками не побегут, тогда, считай, мир перевернулся.

— Давай. Черт с ними! — Офтум с удовольствием полез за кошками, одну передал Асою, сорвал брелок.

— Делай за мной! — приказал он другу. стал тыкать морды кошек в стекло и вдохновенно мяукать и рычать:

— Мя-у-у, мя-у-у, р-р-р,— замаякал за ним Асой.

— Ты что, не ел сегодня?! Громче давай! Мя-у-у! Еще жениться хочет! Смотри, как я,— громко сказал Офтум, грозно сдвинул брови и сильнее напряг голосовые связки.

Беспокойно оглядываясь на ворота, Асой стал рычать, и салон наполнился дикими звуками, словно это был какой-то кошачье-собачий питомник.

— Ага-а! Залаяла! Мя-у-у! — воодушевлялся все больше Офтум.— Давай, Асойчик, давай! — Первую собаку поддержали две остальные.

— Та-ак! Теперь я делаю три мя-у, на третьем открываем окна и выбрасываем котов? Мя-у. Понял?

— Давай.

— Мя-у, раз, мя-у два, мя-ав! — Быстро опустили окна и маленький пушистый котенок с двумя рыжими вылетел на дорогу. Собаки ринулись за ними. Мгновенно открылись дверцы машины и два молодых человека че-

рез секунду оказались за воротами. Захлопнулась калитка.

— Фу-ух! Что бы ты делал без меня?! — еще не отдышавшись, но уже важно выговорил Офтум.

— И где я только нашел тебя? — выдыхал Асой.

Отдыхались. Осмотрели друг друга. И вдруг рассмеялись.

— Р-р-р,— тыкал пальцем в Асою Офтум.

— Мя-у,— смеясь отвечал Асой. Друзья не заметили, как в глубине двора на пороге дома появилась темноволосая лет восемнадцати девушка — невеста Асои.

— У Офтума лучше получается,— сквозь смех крикнула она. Друзья растерянно переглянулись.

— Добрый вечер! — учтиво проговорил Офтум. — Это-о... день! — опомнился он.

— Молчал бы,— шепнул Асой и, растянув в улыбке рот, громко сказал другу:

— Проходи, проходи.

— Вы уже, наверное, заранее отметили? — улыбаясь, спросила Жанна.

— Да не-ет. Просто по телевизору мультики показывали про собачек и кошек. Еле его оторвал,— с напускным весельем ответил Асой.

Вошли в дом. В зале их встретила невысокая женщина, мать Жанны:

— Радостен приход ваш! Проходите!

— Спасибо! — ответили, разом друзья.

— Вы садитесь,— показала Жанна на диван,— я сейчас,— и она зашла в смежную комнату.

Асой и Офтум сели.

— Как дела?

— Да вот... Идем сегодня! — многозначительно ответил Офтум.

— Вижу, вижу. Бог вам в друзья!

— Спасибо.

— Может, покушаете?

— Мы ели, — ответил Асой.

— Ну, я хоть чаю поставлю.

— Да не беспокойтесь, тетя Роза.

— Ничего, ничего, — сказала Жаннина мать и вышла.

— Может, пойти посмотреть, ушли они или нет? — словно у себя спросил Асой.

— Не надо глаза им мозолить. Пусть посидят подождут. Увидят, что нас нет, — исчезнут. У собак тоже свои дела бывают, — как всегда, с умным видом сказал Офтум, весело затарабанил по столу пальцами и счастливо пропел:

— Миллион, миллион алых роз.

Тем временем к воротам подходил Илья — отец Жанны, полный, с тоненькими щеточками усов и лукавыми глазами.

— Эти в кино пришли, что ли? — приостановился он, увидев у машины будущего зятя трех собак с кошками в лапах. Немного поразмыслив, он взмахнул рукой и крикнул: — Пшли! Пшли!

Собаки, взяв зубами кошек, нехотя повиновались.

Илья несколько мгновений провожал взглядом лениво отходящих собак, затем зашел во двор.

Войдя в дом, поприветствовал друзей и весело проговорил:

— Чего только не увидишь, пока не умрешь.

— А что? — спросил Асой.

— Подхожу к дому, а около твоей машины три собачки. Сидят, как будто телевизор смотрят. И перед каждой какие-то игрушки. Может, это они вам свадебный подарок приготовили?

— Да не-ет. Мы к ним никакого отношения не имеем,— заверил Илью Офтум и многозначительно посмотрел на друга.

— А то я их прогнал. И уходить не хотели, словно я у них будки отнял. Но ушли все-таки...

Асой и Офтум переглянулись.

— Ну как дела, друзья-братья?

— Спасибо.

В зал с чашками и чайником в руках вошла Роза. В дверях, одетая в светлое платье, с небольшим вырезом на высокой груди, появилась Жанна.

Друзья встали.

— А как же чай? — спросила Роза.

— Они такого цвета не употребляют. Ты бы им беленького чая принесла и огурчиков,— подмигнул Илья друзьям.

— Да нет.

— Ну, мы пошли,— сказал Асой.

— Счастливой вам дороги,— растроганно произнесла Роза.

— Потом заходите,— снова подмигнул Илья.

Когда подходили к машине, Офтум словно невзначай проронил:

— А жаль, что мы с ними больше не увидимся.

— С кем? — спросила Жанна.

— С его друзьями,— ухмыльнувшись, опередил друга Асой.

Офтум смело открыл калитку и, выйдя, остолбенел: у машины лицом к нему, с кошками у лап торжествующе сидели три пса.

— Что стал? — спросил Асой.

— Тихо. Они вернулись и ждут, — негромко ответил Офтум. И втолкнув друга во двор, резко закрыл калитку.

— Что случилось? — удивилась Жанна.

— Рубашку! Опять не погладил! — кинулся к Асою Офтум. Вобрал углы ворота в кулаки и стал усердно мять, — А ну давай снимай! Так в загс не примут. Так, снимай! Вот, — Офтум снял с друга рубашку и протянул Жанне, — видишь какая помятая?

— Что это с вами?

Асой растерянно развел руками.

— В помятых, говорят, не записывают в загсе, — убедительно сказал Офтум.

Жанна взяла рубашку, провела ладонью по измятому вороту и удивленно вскинула плечи.

— Странные вы какие-то сегодня. Пойду поглажу.

А на улице, возле машины, словно в ожидании, внимательно смотря на калитку, сидели три пса.

— Укусят, не ходи! — доносился до них громкий голос Асои.

— Я виноват, я и пойду, — слышался решительный ответ Офтума. — Ты оставайся здесь.

— Нет! Я с тобой! Ты возьми тот лом, а я — кирпичи.

— Ничего не надо! Человек я или нет?! Горю или нет! Так поговорю с ними по-человечески.

Из-за ворот донесся до псов звон упавшего

на асфальт лома, удары кирпичей и решительные вслед слова:

— Ну я пошел!

— Вместе.

Два друга — Офтум в распахнутом батнике и голый по пояс Асой — шагнули к калитке.

Выдохнув, Офтум потянул ручку калитки.

В метрах тридцати от них легкой трусцой удалялись собаки, а около машины лежали брелок и два рыжих плюшевых кота.

ПЕРЕМИРИЕ

Георг, Танхо и Андрей — двадцатилетние парни, трио национальных инструментов, заканчивали гастроли в одном из курортных городов.

Уже прошло два дня как они отработали последний концерт и, казалось, все было как надо, но вдруг ребята рассорились.

Георг и Андрей торопились домой и готовы были сейчас же собрать свои инструменты и чемоданчики, но старший в трио — большеглазый, стройный гармонист Танхо никак не мог расстаться с одной из трех девушек, с которыми друзья познакомились после первого концерта.

Трио стало походить на струну, готовую вот-вот лопнуть. Нужен был лишь легкий щипок.

Этим щипком оказался беспощадно палящий день, ворчанье доулиста Андрея, который тяжело нес по раскаленной улице грузноватое тело и все время уговаривал друзей перейти на другую сторону в тень. Но до гостиницы

оставалось сотни две шагов, и Танхо с Георгом не хотели переходить улицу.

Так и плелись друг за другом с распахнутыми рубашками.

— Что за жизнь пошла? Каждый только себя знает,— ворчал Андрей,— теперь и брат брату не брат. А что тогда про них говорить. Если я даже упаду сейчас, не дай бог, и сгорию на этом черном асфальте — не подойдут. Жарко, скажут.

— Да прожить мне до того дня, когда ты свалишься,— усмехнулся Георг, подняв худощавые руки.— Ты со своим «мозолем» сам кого хочешь свалишь.

— И что людям от моего честного живота надо. Таким, как ты, нужно быть, что ли? Вилка волосатая. У тебя живот со спины просвечивается. Вон, даже компот вижу, с вишнями.

— А-а,— не поворачиваясь, отмахнулся Георг.

— Иди, иди, зурна усатая.

— Помолчал бы, барабан,— не выдержал Георг.

— Ты это на что намскаешь? — приостановился Андрей и, словно отшвырнув усталость, догнал Георга, повернул его за плечо.

— Если я барабан, то ты свисток. Сначала бы сам научился играть.

— Ты это мне говоришь? — нахохлился Георг.

— Не столбу же тому.

— Извинись. Скажи, что пошутил. Как друга прошу.

— Драх-бада-бада-да-тах! Понял? — подражая звукам доула, ответил Андрей.

— Еще раз прошу, скажи, что пошутил.

— Иди, давай.

— Что хочешь мог бы тебе простить. Но это... Ты считай всех моих отцов оскорбил. Мой дед на весь Кавказ лучшим зурначом славился. Мой отец лучше него играл. И я сам, можно сказать, с зурной родился. Это ты — не играешь, а как дятел стучишь, — для убедительности Георг постучал костяшками пальцев себя по лбу.

— Э-э, хватит. Не дети же! — вмешался Танхо.

— Что хватит! Он мне в душу плюнул, — сверкнул черными глазами Георг.

— Из двоих кто-то же должен быть умней, — неудачно вставил Танхо.

— А кто дурак? — подняв пухлый подбородок, угрожающе протянул Андрей.

— Ну вас... — махнул рукой Танхо.

— Сам иди. Тоже... начальник.

— Хорошо. Сейчас придем в гостиницу, и делайте, что хотите!

— Хотите — не хотите. Он думает, если родился на два часа раньше, то люди от него разные штуки терпеть должны, — бросил Андрей вслед уходящему Танхо и двинулся на другую сторону улицы.

Так и шли: впереди Танхо, уныло, в шагах двадцати сзади — Георг и по другой стороне улицы — Андрей.

... Смешная человеческая жизнь: можно предугадывать события на десять лет вперед, а вот что тебя ждет через десять минут — порой и не узнаешь.

Не знали этого ни Танхо, ни Георг, ни Анд-

рей. Вернувшись к себе в номер, молча завалились на кровати.

Первым не выдержал Танхо. Подсев к столу с телефоном, он через справочную добрался до нужного номера.

— Это касса аэрофлота? — мягким голосом спросил он. — Здравствуйте, девушка... Мне в Нальчик нужно.

Все что угодно могли ожидать Георг и Андрей, но такого благородства!..

— Значит, завтра? В восемь двадцать... Ага... Спасибо! — слишком громко закончил Танхо и снова завалился на кровать.

Через некоторое время зазвонил телефон. Это была Лена, одна из трех девушек.

Танхо украдкой посмотрел на Георга.

«Это я должен позвать его? Никогда. Прежде кошки начнут лаять!» — подумал он и ответил в трубку:

— Лена! Это я, Танхо! Перезвони! Плохо спышу! — последнюю фразу Танхо почти кричал, хотя и слышал девушку прекрасно.

Снова зазвонил телефон. Георг выждал третий... пятый звонок, медленно поднялся, подошел, снял трубку.

— Да-а, это я, Леночка. А как же, соскучился.

— Приходите вместе, к берегу, — говорила Лена.

— Сегодня не получится. Потом объясню. Встретимся с тобой у наших камней.

— Хорошо, Георг. Позови Андрея. Здесь Таня.

Георг искоса посмотрел на друга. Тот лежал с закрытыми глазами.

«Глаза закрыл, а уши, наверное, как слон

развесил,— подумал Георг.— Э-э! Самый хитрый народ эти барабанщики. Ты, говорит, играть не можешь. Усы сбрею, но не позову».

— Алло! А-а, это ты, Таня? Не слышу. Перезвони! — Георг несколько раз постучал по трубке и нарочито зло опустил ее на аппарат.

— Если телефон сломался, го-лову-у то-да-а оторву-у,— тут же протянул Андрей по своей привычке напевать на какой-нибудь мотив нужные ему слова.

— А если б твоя мать знала, что родишься ты, то она б родила другого,— бросил Георг Андрею и, выйдя из номера, хлопнул дверью.

На следующее утро раньше всех поднялся Танхо. Специально, точно вокруг никого не было, он посвистывал и весело напевал:

— Ты, Нальчик, родина моя.

Проснулись Георг и Андрей, но, притворяясь спящими, лежали с закрытыми глазами. И лишь когда Танхо с гармонью и спортивной сумкой прошел к двери, Георг повернулся к стене, а Андрей пропел:

— Он думает, что он один

Биле-эты смо-ожет достать. Ай джан!

— Ты, Нальчик, родина моя,— насмешливо ответил Танхо и вышел.

Через минуту поднялся Андрей. Умывшись, степенно расчесался, разгладил на животе рубашку и беспечно затыкнул:

— Пускай не думает он.

Что кассы все аэрофлота

Купил его отец родной. Ай джан! — Вышел и он.

— Тоже мне, деловые,— усмехнулся Георг.— Посмотрим, кто прилетит первым!

...В аэропорту друзья упорно не замечали

друг друга, демонстративно помахивая паспортами, из которых дразнящими языками торчали зеленые листы билетов.

В самолете расселись в разных рядах.

...После посадочного толчка друзья невольно переглянулись, но резко отвели взгляды.

Георг улыбнулся, посмотрел в иллюминатор и сказал соседу:

— Знаете, мой дед говорил: человек должен иметь семью, двух друзей, если они настоящие,— для жизни хватит. И еще человек должен иметь родину. Место, куда нельзя не вернуться, как бы хорошо ни было в других краях. Правду говорил дед. Своей семьи у меня пока нет, но зато есть родина и друзья. Родина вот,— показал в иллюминатор Георг.— А друзья тоже здесь. Хотите услышать их?

— А почему бы нет? — снисходительно улыбнулся сосед. Георг еще раз посмотрел в иллюминатор и снова что-то приятно защемило в груди.

Он раскрыл футляр, бережно взял зурну, вставил трость.

— Можно? — спросил он у соседей.

— Давай.

Георг на секунду замер, потом поднес зурну к губам. Выплыли, и от низких, потянувшись к высоким, полились и затопили салон нежно-долгие звуки.

Услышав зурну, настороженно вытянул шею Андрей. Поняв, что это играет Георг, заерзал, беспокойно оглядываясь по сторонам.

— Э-э-э! Не играет, а поет, не быть его отцу в трауре. Аж сердце останавливается! Друг мой это,— сказал Андрей удивленному соседу.— Правда, я его не хвалю, испортится

еще. Но у него дед был мировой зурнист, отец лучше его играл, и сам он, можно сказать, с зурной родился.

Андрей расчехлил доул, перекинул через плечо ремень.

— Поддержать друга надо, а? — обратился он к соседу.

— Играй.

Андрей легко вскинул руку и, ударив по краю доула пальцами, рассыпал затем по салону четкие, точно прыгающие орешки, звуки.

Салон заулыбался.

А с последнего ряда, надевая гармонь, поднялся Танхо.

Вздогнули пальцы его, разошлись меха гармони и, соединившись с доулом и зурной, вступили в салон горящие аккорды.

Играя, Танхо двинулся к первому ряду, где уже возле Георга устроился Андрей.

— Чак-чак-чак, — приветствуя друга, быстрыми пальцами выбил Андрей.

В ответ Танхо рванул меха гармони и вновь заполнил салон обжигающими звуками.

Эти звуки наполняли и все существо Танхо, сильнее разгорались в его глазах, и с каждым мгновением становилось видно, что он не в силах удержать себя и гармонь, и нужно было что-то сделать.

Неожиданно для себя и других Танхо перекинул гармонь за голову и теперь уже за плечами яростнее заходили меха гармони.

Салон, ахнув, замер.

А зурна поднимала мелодию на невероятную высоту и, подхватив звуки гармони и доула, казалось, вырвалась из самолета.

— Товарищи! — хотела вмешаться бортпроводница, но ее умоляюще перебил сосед Георга. Он приложил палец к губам и произнес:

—Пожалуйста... доченька. Душа поет.

СИНИЙ ГОЛУБЬ

Не стало у Асэфа бабушки. Умерла Дэдэ. Ушла спокойно. И даже когда глаза ее уже ничего не видели, а светились, как два маленьких светло-карих озерца, на глади их словно было сказано: то, что могла сделать я — маленькая горская женщина,— сделала.

Имя у Дэдэ теплое — мама. Асэф никогда не называл ее бабушкой. Ба, бабуль, ба — вот только так и никогда по-другому. Да и все вокруг любили ее. Выйдет она посидеть у калитки, не пройдет и пяти минут, как к ней подсядет соседская женщина или девушка. И как только узнавали, что она на улице? Дэдэ никогда не говорила много. Больше слушала. И только изредка весело или задумчиво, поправив на голове темную, повязанную к затылку косынку, скажет два-три слова. Зато в тот же час или день соседи скажут о ней: как Дэдэ умеет красиво говорить!

Лицо ее выписано чистыми долгими морщинами. Такие же суховатые, с заметными венами ее руки. И душа... душа ее похожа на усталую спокойную реку: течет река, а вот появляется еще одна, поменьше, и впадает в большую реку. Так и люди. Раз появились они в жизни ее, значит, несут свои годы вместе. Бывало всякое, встречались и такие реки,

которые высыхали. Но не по вине большой реки.

А вот теперь не стало ее, единственной ба Асэфа.

Слезы пересохли, душа перегорела. Стало как в чистой покинутой комнате...

Вот почти и подъехали к дому Дэдэ. Ее оставили там, под рыхлым желтым холмиком, а сами приехали.

Асэф, кажется, и не заметил, как, мерно гудя, неся в себе людской говор, «Икарус» подкатил к дому. Нет, он видит лица, и разговоры. А однажды захотелось сжать кулаки и дать в морду: кто-то улыбнулся. Но Асэф понимал: нельзя винить. Человек с годами становится как камень, иногда тверже камня. Таким его делает жизнь, таким его лепят многочисленные за жизнь смерти родных, близких и окружающих людей.

И знал Асэф, понимал, что улыбнувшийся не злорадствовал. Просто человеческая жизнь в этом мире, как лист на осеннем дереве.

Автобус остановился. Резко раскрылись двери. Асэф почувствовал, что лицо его стянуто, словно покрыто чем-то вязким: высохшие слезы.

Автобус с женщинами подъехал, как обычно, раньше, и они уже большой группой стояли у раскрытых ворот и, поливая друг друга из кружки, легкими хлопками бросали в лицо воду. Потом стали умываться мужчины. Так вот положено. Людей было много. В раскрытые ворота были видны два стола, длинно протянувшихся вдоль широкого двора. Один стол тянулся вдоль деревянного забора, другой — вдоль стены дома.

Первыми за стол стали усаживаться старики. Потом мужчины помладше. За второй стол сели товарищи Асэфа.

Проходя в глубину двора, Асэф ответил кивком нескольким знакомым уважаемым мужчинам. Среди них был и секретарь парткома фабрики Илья Григорьевич.

Над двором стоял осторожный легкий говор.

Свадьбы — да будут всегда свадьбы! — похороны теперь стали тоже местами встреч давно не видевших друг друга людей.

Асэф понимал и это. Асэф — поэт.

Правда, знаменитым он не был. Просто писал стихи, работал на фабрике.

...В глубине двора, под виноградником, в темных платьях сидели женщины. В середине старшие по возрасту покачивали головами и вели плач. Плач уже был негромким и усталым.

Асэф достал сигарету, по ступенькам вошел в прихожую дома, прислонился к стене и закурил.

Из окна Асэф заметил, как отламывает небольшие кусочки лаваша и, окуная их в соль, раздает близ сидящим Савке — долголицый горбоносый мужчина, обувщик.

Лица, лица, лица.

Асэф заметил круглое, как мячик, лицо директора школы. Он вертит перед Миной, инженером фабрики, маленькой ручкой, и видно, что инженеру уже надоело философствования директора. В начале «старшего» стола, среди стариков, сидели рабби — священники. Один из них встал, провел ладонью по острой белой бороде, словно вытянул колпачок.

поднес «Писание» к глазам и медленно, кивая в такт головой, стал читать. Асэф вышел. Над столами звучал равномерно-носовой звук голоса рабби и в промежутках поднималось многочисленное мужское «Омин!».

— Омин!

— Омин!

— Омин!

Лица. Лица. Лица за общим столом. Разные. Но в незримом все чем-то похожие друг на друга.

Асэф попался на взгляд своего друга Коли, добродушного молодого человека с широкими усами, широколицего, похожего на мясника, и мясника на самом деле. Он кивнул Асэфу: подойди. Асэф хотел было отказать: сейчас нет, но на него смотрели самые близкие друзья, сидевшие с Колей, и ждали тоже. Асэф подошел. Товарищи раздвинулись. Асэф сел.

И снова тепло стало оттого, что в этот день друзья пришли сочувственно пожать ему руку, поехали с ним на кладбище, бросили по горстке земли на могилу бабушки, и теперь снова с ним.

Молча разлили водку по рюмкам. Помолчали. Черноусый, слегка горбоносый Витя поднял рюмку.

— Не видеть тебе больше горя!

— Омин! Омин! Омин! — кивнули ребята головами и разом выпили.

Потом Асэф поднялся, сказав, что надо узнать, как справляется с делами младший брат и другие родственники, подававшие на стол.

Асэф уже был в глубине двора, как его остановил громкий мужской плач:

— Ахи-Ахи-Ахи!

Это был разлохмаченный пятидесятилетний Шорхош, всегда в одном и том же замусоленном пиджаке, бесцветных брюках.

Шорхош по обыкновению ходил по свадьбам, поминкам, танцевал и плакал. Танцевал оттого, что свадьба. Плакал — то ли оттого, что ему действительно было жалко ушедшего или себя, то ли оттого, что выпил мало и надо добавить. Шорхоша почти не гнали, если он знал свою меру.

Шорхош уже подошел к Асэфу, что-то залепетал, и сразу в спину Асэфу ударились несколько женских голосов:

— Выведи!

— Вывести надо.

Но Асэф не прогнал Шорхоша, а повел и посадил в дальнем углу стола. Он налил Шорхошу водки и снова пошел в глубину двора. Прежний осторожный говор, стоявший над двором, стал перекатываться в гул.

Вдруг над головами раскинулось хлопанье:

Хоп-хоп-хоп.

Хоп-хоп-хоп.

Двор замер.

Хоп-хоп-хоп.

Лица обратились к небу, к осеннему синему небу: над двором бил крыльями голубь:

Хоп-хоп-хоп.

Головы поворачивались. Голубь опускался. Голубь был белым. Но он опускался с синего неба и был словно малая часть безбрежной синевы. Синий кусочек синего неба.

Головы поворачивались. Голубь сложил

крылья и сел на плечо Мини. Мужчина застыл с растерянной полуулыбкой. Его рука так и осталась лежать на столе, прижав вилку. Все смотрели на Миню.

Голубю надоело черное плечо, и он порхнул на стол. Затем, ткнув клювом в тарелку с мясом, взлетел и снова сел на плечо другого мужчины. Голубь почистил перья и на этом замершем плече и вновь слетел на стол.

Асэф смотрел в лица людей. Многие опускали головы, стараясь скрыть... улыбки.

А голубь снова садился на чье-то плечо. И снова его не прогоняли и не брали на руки.

— Голубь! — вдруг радостно рванулся маленький мальчик, но женская рука жестко остановила его.

Асэфу подумалось, что в этом есть что-то особенное, и руки его потянулись к голубю, чтобы приласкать птицу. Но вокруг были люди, и Асэфу казалось, что руки его связаны.

Все это продолжалось с минуту.

Голубь слетел еще с одного застывшего плеча, поднялся и забил крыльями. Он становился меньше и меньше.

Люди опустили головы, словно разом выдохнув, заговорили.

Поднялся рабби. Асэф не слышал его.

Синие крылья сливались с синей безбрежностью.

Асэф посмотрел на читающего «Писание» рабби. Рабби закончил читать, и люди стали вставать из-за стола. Асэф увидел, как поднялись его товарищи, достал сигареты и пошел к ним.

ПОДОЖДИ-КА!

Эрзол сложил газету вдвое и бросил ее на стол.

— Эх, неохота,— подумал он.— Ничего неохота. Ни читать, ни думать... Не быть моему отцу в трауре, интересно, сколько дум я передумал за жизнь?

Он повернулся на стуле, встал. Выходя из дому, прихватил низкую аккуратную табуретку.

Во дворе у таза с гусиными перьями на низеньком стульчике с двумя подушками восседала его старуха Шимхо. Она быстрыми щипками срывала с перьев пух, а сама, казалось, была далеко от этого пестрого вороха, от своих рук: так неподвижно смотрели ее выцветшие глаза.

— Ты куда?.. — подняла она белую голову навстречу проходившему мимо Эрзолу.

— Пойду на улице посижу, на людей посмотрю,— ответил Эрзол.

— Иди-иди, вечер хороший, и солнце село.— Шимхо несколько раз кивнула в такт своим словам и снова вернулась к своим мыслям.

А вечер был действительно хорош. Он вывел людей из домов, и они сидели сейчас группками у ворот, вороша старые, перекручивая новые истории, или же выставляли на суд соседей свои домашние заботы.

Соседи сразу заметили Эрзола.

— Быть доброму вечеру! — в несколько голосов перелетело к Эрзолу через неширокую улицу.

— Здравья вам,— ответил Эрзол.

Соседи пригласили Эрзола к себе, но он уже удобно сидел. Вставать не хотелось.

— Не беспокойтесь, я здесь посижу. Моя сторона вкуснее,— пошутил Эрзол и по привычке повел по белым буденовским усам двумя пальцами в одну и другую сторону.

После жаркого дня улица ожила. Мимо Эрзола проходили знакомые и незнакомые люди. Многих он просто не замечал, а если появлялось интересное для Эрзола лицо, хитро прищуренный глаз стрелял острым бодливым взглядом.

В шагах десяти от себя Эрзол увидел молодую женщину.

— Ишь ты,— залюбовался он.— Аж потрогать хочется... Ох, какой мир стал... Женщина от паранджи к этим коротким платьицам скакнула. И к этим вот вырезам на груди. Того и гляди вывалится оттуда что есть и чего нету.

— Когда-то отрадой белого света были у меня женщины, а теперь — просто белый свет,— качнул головой Эрзол.

— А теперь копошись потихоньку, Эрзол, и люби, как бог, все живое и неживое.

Эрзол хлопнул ладонями по коленям и вдруг вспомнил, что сегодня он должен... умереть.

— Постой, не сегодня,— засомневался он.— Нет, точно — сегодня. Чертом я порожден, если не так. Именно сегодня.

— Не быть моему отцу в трауре! — теперь Эрзол удивился своей и вообще человеческой памяти, качнул головой, восхищаясь, как это — благодаря какой-то малости, через несколько лет можно что-то вспомнить.

Интересно сделана человеческая голова. Вот, кажется, всего лишь женщина прошла, а он вспомнил.

— Спасибо тебе, дочка, если бы не ты, не пришлось бы мне умереть сегодня. А сейчас и время подходящее — прохладное, — Эрзол представил водку, потом сразу увидел диван, на котором он решил умереть. На диване удобнее, да и постель разбирать не надо.

— Умирать-то, умирать, — Эрзол почувствовал, как заселился в нем другой, очень неуютный Эрзол, — Шимхо как на это посмотрит. Еще выйдет из этого что-нибудь. Нет, перетерпит, она еще молодая. Что такое для женщины шестьдесят пять лет?! — успокоил себя Эрзол.

— А может, ей все прямо сказать? Нет, скажешь — умираю, чего доброго свалишь старуху с ног. Так не пойдет. Ну как же сказать Шимхо? Как? — злился Эрзол, что ничего не приходит на ум, и мысли, как тяжелые мешки: несколько свалилось, а их и не поднять и не передвинуть.

Несколько минут Эрзол закручивал усы, потягивал их к вискам и наконец подумал:

— Ага, вот как я скажу Шимхо...

Эрзол уперся руками о колени, поднялся и, прихватив табуретку, вошел в калитку.

Дом у Эрзола небольшой — в глубине двора. А зачем старикам больше? Двух комнатушек с кухонькой хватит. Зато с улицы стоит хороший. Сыну выстроил. Главное, не один живет он в этом большом дворе. Сын, внуки. Правду говорят: старость без детей — дом без окон, темница.

Эрзол вошел в дом.

— Кушать будешь? — спросила Шимхо. Она стояла у газовой плиты и сама походила на нее: такая же широкая, только выше и темнее.

— Я умирать пришел, — чуть было не сказал Эрзол, но вслух коротко ответил:

— Нет.

Он прошел в переднюю комнату и лег на диван, свесив ноги.

— Шимхо! — крикнул он. — Шимхо! — И тише добавил: — Глухая баба.

— Чего? — подошла старуха. — Чего ты так лег, по-человечески нельзя? — показала Шимхо на сапоги.

— Сними лучше.

— Ты чего, нездоров?

— Не видишь, что ли. — Эрзол сделал очень серьезное лицо, остановил взгляд на потолке и высоко поднял подбородок.

— Слушай меня, пойді к моим товарищам Бодону и Савке и скажи, что тяжелый я. Прощаться хочу.

— Умереть мне! — всплеснула Шимхо руками по коленям. — Что говоришь ты?

«Вот дура, — подумал Эрзол, — не видит, что ли, какой я».

— Не поднимай крика. Иди. Только смотри, никому ни слова больше. А сапоги, так уж и быть, я сниму сам. Поняла?

Эрзол сел, для успокоения весело подмигнул Шимхо и стал стягивать сапоги.

— Подожди, помогу, — наклонилась Шимхо, но Эрзол отстранил ее руку:

— Ты делай, что тебе сказал, — Эрзол вытянулся на диване и сложил на груди руки.

— Ах-ах, как хорошо,— подумал он, чувствуя пальцами и пятками прохладу и легкость.

Шимхо вдруг показалось, что лицо Эрзола действительно стало белее усов.

— Чего стоишь? Ты только не волнуйся, пойди к Бодону и Савке и скажи, что я зову их попрощаться. Смотри, больше никому ни слова. Иначе потом выгоню тебя из дома:

«Как это — потом!» — подумала Шимхо.

— Идешь или нет?! — Эрзол резко поднялся и увидел, что глаза Шимхо стали похожи на трехкопеечную монету.

— Да не бойся ты. Иди,— нежно сказал Эрзол.

«Здесь что-то есть,— подумала Шимхо.— Умиравший так не вскакивает и не подмигивает».

Эрзол сцепил на груди пальцы, но глаза не закрывал, смотрел на Шимхо.

«Сына позвать, что ли?» — подумала Шимхо.

— Если кому-нибудь скажешь, тогда смотри! — сказал Эрзол, будто отгадав ее мысли.

«А может, так действительно лучше,— Шимхо чувствовала, что ее мысли никогда так быстро не носились в голове.— Да, позову его друзей, кто знает, что на уме у этого старого черта».

— Идешь или нет? — медленно расставил Эрзол слова.

— Иду, иду,— Шимхо вышла.

— Вот так, хорошо,— Эрзол пригладил усы.— И Шимхо, кажется, не испугалась, и дело будет. А иначе нельзя,— оправдывался перед собой Эрзол.— Ведь бабий язык какой: хоть на замок закроешь, так он в замочную

скважину да и вылезет. Но теперь главное дело было сделано и умереть не страшно.

Эрзол сложил на груди руки, закрыл глаза и представил...

...Он лежит на белых простынях, белых подушках, по грудь накрытый белым до синевы одеялом. В другой комнате сидят старухи. Вот уходит его последнее дыхание. Сразу же поднимается вой, крики. Шимхо крепко держат за руки, но она вырывается и успевает растрепать волосы и, крича, расцарапать себе лицо. Потом его раздевают, безжизненное тело переносят и кладут в цинковую ванну...

Тут Эрзол почувствовал, как по его груди к ногам пробежал отвратительный холод. Эрзол резко сел.

— Тьфу! — сплюнул. — Какая это гадость! Я в ваши усы... — ругнул он своих товарищей и взялся за сапог. Нагнувшись, он подумал, что сапоги надевать еще нельзя, встал и пошел искать шлепанцы. Потом достал из холодильника водку, поставил ее на стол в комнате, где был диван, и сел у окна. Он посмотрел на смятую подушку и снова с наслаждением ругнулся:

— Я в ваши усы...

Во дворе слышались шаги. Эрзол посмотрел в окно и увидел озабоченные лица. Шимхо что-то показывала руками, вслед ее словам два старика, широко расставляющий ноги, плотный Бодон и аккуратненький, маленький Савке, покачивали головами.

— Го-го-го, — засмеялся Эрзол. Снова вытянулся на диване и закрыл веки.

Он услышал осторожные шаги и тихий голос Бодона:

— Уснул, что ли?

Эрзол открыл глаза, увидел склонившиеся над ним напряженные лица и сомкнул веки.

— Что с тобой, брат мой? — спросил Бодон.

— Пора мне, ухожу от вас, — сдержал Эрзол смех.

— Не говори дурных слов!

Эрзол услышал, как возле него поставили стулья, и Бодон с Савке сели.

— Ухожу. Вон водку приготовил. Выпьем по сто грамм, и я умру. — Эрзол открыл глаза.

«И вправду, что ли, думают, что подыхаю? Хрена вам, а не моих похорон», — Эрзол чувствовал, что больше не может сдержать смех.

— Гу-гу-гу-гу! Да садитесь вы, — гулко хохотал Эрзол.

— Ты что, на старости с ума сошел? — Савке повертел тонкими маленькими руками.

— Нет. — Эрзол перестал смеяться, но еще улыбаясь, спросил:

— Сегодня какое число?

Старики переглянулись.

— Пятнадцатое. Ну, дальше? — Бодон чуть наклонил к плечу голову.

— Эх, — бросил рукой Эрзол. — Ничего не понимаете... Помните... пять лет назад мы сидели в этой комнате. Все трое. И ты мне сказал: «Даю тебе пять лет жизни». Вспомнил? Значит, сегодня я должен был умереть. А? — Эрзол прикрыл один глаз.

— Так и сказал бы сразу, — покачал головой Бодон.

— От него чего-нибудь хорошего разве увидишь? — Савке махнул рукой.

— Увидите, может быть. Если дадите еще лет пять пожить.

За спинами друзей Шимхо покачала головой.

— Такого вот товарища нам бог дал. Сколько мы его уже терпим,— начинал смеяться Бодон.

— Э-э-э, тебя-то я знаю, ты бы меня еще лет сто с удовольствием потерпел бы.

— Жenuшка, хотя при них и неудобно тебя так называть, приготовь-ка нам хинкал. А мы пока пару партий в карты сыграем.— Эрзол пригласил стариков к столу...

Наливали по полной рюмке.

— Интересное дело,— говорил Эрзол, вытирая полотенцем масляные губы.— Женщину увидел и вспомнил. А потом сижу на улице и думаю, как бы так сказать, чтоб никто не испугался. И еще думаю — неудобно такими вещами заниматься, не мальчик все-таки. Но как представляю все,— смех так и прет из меня. А что нам еще осталось. Хоть подурачимся напоследок. Самое интересное было, когда лежал и представлял, как это я на тот свет ухожу. До того ясно представил, что чуть и вправду не умер. А зато мы сейчас вместе. У стариков ведь точно, как у молодых: друзья нужны.

— Савке,— попросил Эрзол,— скажи нам пару хороших слов. Хоть и маленькая твоя белая голова, но когда говоришь ты, удивляюсь, где такая уйма слов прячется.

— Зато в твоей здоровой кастрюле и прятаться нечему,— Савке поднял тонкими, цепкими пальцами рюмку.— Давайте выпьем за нашу землю. Чтобы всегда была она для наших детей и внуков. И чтобы не было войн! За светлый мир!

...Когда прощались, Бодон выделил Эрзолу еще пять лет жизни и, хлопнув по плечу, сказал:

— До встречи, брат...

...В полночь Эрзол проснулся.

Шимхо спала на своей кровати. Эрзол сбросил с себя одеяло, босиком прошлепал к ней, несколько раз осторожно, пока она не проснулась, толкнул в плечо.

— Пошли,— Эрзол потянул за руку севшую на кровати Шимхо.

— Старый черт. И на старости успокоиться не может,— проворчала Шимхо, поняв, куда ее тянет старик.

Эрзол пропустил ее вперед и, шлепая за ней, на мгновение остановил взгляд на открытом окне.

Ночь. Черная августовская ночь, как бездомного щенка, придавила землю. Только в далекой темноте холодным блеском подергивались звезды. Эрзолу показалось, что это не звезды, а чьи-то шальные глаза всю сейчас смеются над ним — над Эрзолом, над всей его жизнью, над всем тем, что совершал он и делает сейчас.

«Несмешные дела,— долго потянулась мысль. Эрзол посмотрел на свою кровать, потом снова в окно и, словно кого-то одолев, подумал: — Подожди-ка ты еще у меня, собачья дочь».

— Черта с два! — кулаком погрозил кому-то в темноту Эрзол. Но, посмотрев в окно, испуганно шепнул:

— Спаси меня бог,— несколько раз шаркнул ступнями о маленький коврик и влез к Шимхо в теплоту.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕСТНИЦЫ	3
ДУША В ДУШУ	12
ВЫБОР	17
СТАРЫЕ КАРТИНКИ	26
ЩЕЛБАНЫ	38
РАЗ! ДВА! ТРИ!	42
ПЕРЕМИРИЕ	53
СИНИЙ ГОЛУБЬ	60
ПОДОЖДИТЕ-КА!	66

Мигиров И. А.

**М 125 До встречи, брат : Рассказы.—
Нальчик : Эльбрус, 1984.— 76 с.**

20 к. 1000 экз.

Первая книжка молодого татского прозаика, пишущего на русском языке.

**М 4702010000-036
М 125 (03)-84 31-84**

С (Тат) 2

Носиф Александрович Мигиров

ДО ВСТРЕЧИ, БРАТ

Р а с с к а з ы

Редактор А. С. Кайданов

Художник М. С. Кастромин

Художественный редактор И. Г. Абрамов

Технический редактор Н. М. Рахаева

Корректор В. А. Вымякина

ИБ № 1134

**Сдано в набор 16.02.84. Подписано к печати 10.04.84.
401181. Формат 70×90¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ.
л. 2,78. Усл. кр.-отт. 2,96. Уч.-изд. л. 2,7. Тираж 1000 экз.
Заказ № 1289. Цена 20 коп.**

Издательство «Эльбрус»

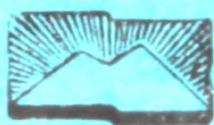
Нальчик, улица им. адмирала Головкин, 6

Полиграфкомбинат им. Революции 1905 года

Госкомиздата КБАССР

Нальчик, проспект им. Ленина, 33

20 коп.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭЛЬБРУС»

НАЛЬЧИК · 1984

Наша самая большая
Мигирова а напутствие
ногосе на нелем и
абмора.

Иосиф Мигиров

40 ВСТРЕЧИ, БРАТ

РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭЛЬБРУС»
НАЛЬЧИК · 1984

С(Тат)2
М 125



Иосиф Мигиров — молодой татский прозаик, пишущий на русском языке. Он выпускник Литературного института имени А. М. Горького.

Рассказам И. Мигирова присущи своеобразный национальный колорит, вера в доброту человеческой души. «До встречи, брат» — первая книжка автора.

М $\frac{4702010000-036}{M125(03)-84}$ 31-84

© Издательство «Эльбрус», 1984.

ЛЕСТНИЦЫ

Этот год Данил объявил «годом Лестницы». То ли материал у него подобрался для них — из реек, то ли еще почему, но Данил уже видел, какими будут они и знал их количество.

А сработать он решил — семь. По количеству разменянных им десятков лет, так до едкой тоски незаметно прошедших и растаявших, словно это были не десятилетия, а каких-то несколько ложек соли, невзначай и неизвестно для чего брошенных в кипяток.

Данил не был ни краснодеревщиком, ни просто плотником. И хотя в жизни ему много чего пришлось переделать, служил он всего на двух должностях. Последней, после которой он уже три года как ушел на пенсию, была работа школьного завхоза. И хотя ей он отломил добрый кусок своей жизни, почти ее всю, главная должность осталась там — в смертных сороковых, когда он был трубачом полкового военного оркестра.

Был и остался им. Потому что так и не смог перешагнуть той полосы из нескольких лет. Не смог потому, что нельзя навсегда оторваться от главного дела жизни, ибо главное дело не бывает ни коротким, ни продолжительным. Оно — просто главное.

И Данил выполнял его хорошо. Он был незаменимым трубачом.

Был Данил и хорошим солдатом. И если требовалось, брал винтовку, и никто не мог

упрекнуть полкового трубача в том, что хранился он от пуль за чужими спинами. Никто не мог, потому что упрекнуть было не в чем.

Теперь свою трубу Данил берег в стареньком, но еще крепком шифоньере. Изредка, по случаям, доставал и наводил на золоченой меди бравый блеск.

Но ни разу, почти за сорок лет после победного дня, он не сыграл на ней и, кажется, позабыл привкус прижатого к губам чуть солоноватого мундштука.

— Что же ты, Данил, так никогда и не сыграешь? — поначалу спрашивали люди.

— Фронтовой трубач просто так играть не может, — полушутя отвечал он и вспоминал послевоенную клятву, что не прикоснется к мундштуку до особого случая.

Что за случай — не знал ни сам Данил, ни кто другой.

Люди уважали Данила, а после одного случая к этому чувству добавилась суеверная осторожность.

В тот день Данил стоял в кругу товарищей. Как обычно, над кем-то подшучивали, вспоминали разные случаи. Мимо них, поздоровавшись, прошел пожилой мужчина. Данил долго смотрел ему вслед. Кто-то заметил его пристальный взгляд и ухмыльнулся:

— Данил, ты смотришь, как вслед молодой девушке.

Данил не то для себя, не то для других медленно сказал:

— У него было такое лицо, как будто он завтра умрет.

Товарищи поначалу как-то зябко насторожились, потом завели разговор о разных чуде-

сах, а в конце концов все перевели в шутку. И, наверное, так и забылись бы слова Данила, но тот мужчина неожиданно на следующее утро умер.

На похоронах, когда, поговорив обо всем на свете, люди вновь вернулись к неожиданной смерти покойного, в одной из групп мужчин вдруг вспомнили слова Данила.

К вечеру ошеломляющая молва облетела все дома района. Эту новость стали обглаживать, как кость; и как бы между прочим была переворошена Данилова жизнь, и люди уже просто не могли не найти в ней истоков такого предвидения. Данил стал обладателем редкого человеческого дара, и через некоторое время дали об этом знать и ему самому.

...Данил заканчивал свою первую лестницу, наставил последний гвоздь и размашистыми ударами вбил его в гладко обструганную рейку.

Лестница получилась аккуратной, с чуть сходящимися кверху вертикальными рейками. Данил приставил ее к стене небольшого аккуратно выбеленного дома, отошел на несколько шагов и, осматривая работу, забубнил какую-то восточную мелодию.

В середине уютного, чисто выметенного двора стояла плетеная табуретка. Данил сел на нее, устало сложил на коленях матовые с добрыми морщинами, умные руки.

— Вот так, — сказал он и некоторое время долгим, точно убегающим в воспоминания взглядом смотрел на лестницу.

Задумавшись, он не заметил, как к сетчатому забору подошел сосед — добродушный, напоминающий пивную бочку Илогум.

— Что задумался? — спросил он.

Данил обернулся на его густой, низкий голос и, улыбнувшись темными глубокими глазами, ответил:

— А-а, это ты. Да вот — глаза дорогу сте-
лют. Наверное, сын с внуком приедет.

— Ну, раз ты говоришь, значит приедет. Твое сердце не обманывает.

— Понимаешь, не столько по сыну соскучился, сколько по внуку.

— Внуки слаще. Это ты мастерил? — спросил Илогум, показав на лестницу.

— Да, вот, думаю, делать нечего, а в сарае реек полно. Чего им зря пропадать? Решил лестницы сделать. Штук семь. Одну себе оставляю, остальные соседям отдам. Вот — первая. Пусть она будет тебе, возьми. — Данил поднялся и перенес лестницу к калитке в заборе, разделявшей его двор с илогумовским.

— Это дело надо обмыть, — сказал Илогум, взяв подарок Данила.

— Успеется.

— Всем лестницам лестница, — похвалил Илогум.

— Знаешь, вот делаю лестницу и жизнь вспоминаю. Лестницы на жизнь похожи...

...Через две недели Данил заканчивал свою седьмую лестницу. Шесть других уже стояли в шести соседских дворах. Весело, трумкая какой-то солдатский марш, Данил подгонял верхнюю рейку.

Жизнь в эти дни шла бодрая: от ясных солнечных дней, от того, что приехал в отпуск сын и — главное — привез к Данилу любимого внука — Тимурку.

— Дядя Данил! — услышал он ласковый оклик.

К решетчатому забору подошла дочь Илогума Ида.

— Дядя Данил, пирожки уже готовы. Мама говорит, что вы их очень любите. Мы ждем вас. И тете Раисе скажите, — не забыла Ида пригласить и даниловскую старушку.

— Не беспокойся, душа моя, — ответил он, — хотя я только недавно ел, но твои пирожки с удовольствием попробую. Сейчас вот забью последнюю рейку и приду. А то из-за мелочи возвращаться к работе — знаешь как неохота. Да еще после такого лакомства, как пирожки с луком.

— Хорошо, дядя Данил, мы ждем и вас и тетю Раису.

— Иди, доченька, я сейчас.

Данил весело забубнил какую-то песню, вколотил последний гвоздь и приставил лестницу к стене.

«Красивая получилась, — подумал он, отошел на несколько шагов и снова любовался. — А ну-ка, попробую, — решил он, поставил ногу и надавил на нижнюю перекладину, потом взялся повыше руками и, точно старый упитанный кот, перебирая ногами и руками, стал подниматься. — Отличная работа», — погордился Данил, но вдруг затрещала и, скрипнув, треснула под ногой перекладина.

— А-а-а! — вскрикнул Данил, успев вцепиться в какую-то рейку руками, и с грохотом упал на асфальт.

— Что случилось?! — выбежала на крик Раиса и, увидев накрытого лестницей мужа, надрывно закричала:

— У-е-е! У-е-е! Убился! Убился!

На ее крик сбежались Илогум, его жена Эрув и Ида.

Илогум высвободил Данила из лестницы, приподнял за плечи.

— Как же ты так? — спросил он. — Ничего не сломал?

Данил пошевелил ногами, руками, оперся ладонями об асфальт и, увидев наклонившееся над ним тревожное лицо Иды, улыбнулся:

— Ты не волнуйся, дочка. Целый.

Илогум помог ему подняться. Держась за поясницу, Данил прохромал пару шагов и с усмешкой проговорил:

— Вот так и жизнь...

Илогум посмотрел на лестницу, потом на Данила, подпиравшего поясницу, запрокинул голову и раскатисто рассмеялся.

— Да-а, ко всему прочему в конце и смешно. Э-хэ-хэ,— улыбаясь закивал головой Данил.

— Это дело не обмыть нельзя! — потряс Илогум ладонью. — Эй, женщины, несите сюда пирожки.

В несколько мгновений у стены дома стал небольшой столик с поджаренными сочными пирогами.

— Пью за старую, крепкую гвардию,— поднял Илогум первый тост.— Дорогой Данил, если бы ты упал и с высоты самой высокой пожарной лестницы, все равно помялся бы не ты, а асфальт. За твое здоровье, Данил! Да прожить тебе сто лет!

— Спасибо, брат мой. Э-хэ-хэ. И жизнь у человека — не жизнь, а как эта сучковатая

лестница. Когда я умру, у меня к вам одна просьба: выносите меня не ногами, а головой.

— Что ты говоришь! В самом конце удивить всех хочешь,— хитро прищурила Ранса светлые старушечьи глаза.

— Ладно. Ты права. Ну, ладно. За ваше здоровье,— Данил поднял рюмку и уже хотел выпить, но вдруг, подумав о чем-то, поставил ее на стол.

— Ты что? — удивился Илогум.

— Если моя лестница с сучком оказалась, значит, и другие могли быть с сучком. Если я свалился, то и другие могли свалиться. А вдруг кто-нибудь плохо свалится?.. Вы сидите, а я сейчас приду,— сказал Данил.— Илогум, начнем проверять с твоей лестницы. Где она у тебя лежит?

— Да не беспокойся, Данил, я ею не пользуюсь. Как сувенир берегу.

— А у тебя еще есть?

— Нет.

— Значит, не сувенир.

— Ладно, пойдем вместе,— поднялся Илогум, и они прошли к его сараю.

Илогум вынес лестницу и поставил перед собой.

— Положи, пожалуйста,— попросил Данил.— Чтоб рейки наверху были.

Улыбаясь, Илогум положил лестницу у ног старика.

Данил осмотрел и прощупал каждую рейку, для большей достоверности стал на первую и сделал несколько прыжков. Потом он посмотрел на Илогума и, точно прикинув на глаз его вес, попросил:

— Да не быть в твоей жизни тяготам, я

тебя очень прошу — попрыгай. Ты тяжелее.

— Ну и беспокойный же ты, — сказал Илогум и, смешно трясая большим животом, попрыгал на каждой рейке.

— Спасибо. Выдержит, — сказал Данил.

Илогум отнес лестницу в сарай.

— Теперь пошли к Николаю, — сказал Данил.

Николай, человек с маленькими быстрыми глазами на круглом лице, был такого же телосложения, как Илогум. Выйдя из дома на оклик Данила, он вскинул ладони и бодро поприветствовал:

— Благословен приход ваш!

— Как дела, брат мой? — спросил Николай у шедшего впереди Данила.

— Не знаю, — пожал его руку Данил.

Николай не удивился такому ответу. Он, да и все жители района знали, что иногда на вопрос: как дела? Данил шутливо отвечал: не знаю.

Кто-то однажды спросил у него:

— Данил, почему ты так говоришь? Ты ведь все знаешь?

— А я, как и все люди: про всех и про все знаю, но как у самого дела — не знаю. Да и потом, иногда ты думаешь, что дела неважные, а другой завидует. Или наоборот, — думаешь все хорошо, а оказывается — нет. Прото, какие дела у тебя сегодня, можно узнать только о-ох когда, — полушуткой ответил Данил.

И никто за все время на свой вопрос: «Как дела, Данил?» не слышал: «Хорошо». По обыкновению он отвечал: «Как всегда, живем» или еще как-нибудь...

Лестница Николая стояла сзади дома. Данил осмотрел ее так же, как илогумовскую, и попросил Николая попрыгать на рейках. Тот добросовестно потряс грузноватое тело на каждой рейке и, закончив испытание, дыша чаще, чем обычно, заверил: крепкая.

Вскоре опробовали остальные лестницы. Те тоже оказались прочными.

— Ну вот, теперь спокоен? — на обратном пути спросил Илогум.

Они вошли во двор. Сидя за столиком, о чем-то говорили Раиса, Эрув и Ида. Пирожки на блюде были плотно накрыты большой тарелкой.

— Ну и как дела? — спросила Раиса.

— Хо-ро-шо,— врасстяжку ответил Данил.

— Вы слышали? Не может быть. Как это ты вдруг ответил «хорошо»?

— Хорошо.

— Такое дело людям не сказать нельзя,— подшутила над стариком Раиса.

И действительно, скоро об ответе Данила говорили многие люди. И к этому добавляли еще, что в тот самый день маленький внук Данила привел своих друзей, и Данил сыграл на трубе. Правда, у него получалось не так, как в молодости, но зато люди с улыбкой говорили:

— Сыграл Данил. И на вопрос о делах ответил: «хорошо».

И у очень многих от этой новости веселее шли дела. Не от того, конечно, что люди были суеверны. Нет. Просто нравится людям верить в хорошее. А иначе же как жить-то нам, человекам, в этой единственной, прекрасной и всякой другой жизни.

ДУША В ДУШУ

— Миша, принеси два мешка муки. А потом можешь идти получать деньги — и домой, — молодая завмаг протянула связку ключей и весело подмигнула.

Миша вышел из магазина, развернул стоявшую рядом тележку и покатил ее к складу. Большие замки склада хорошо видны с улицы, и, прежде чем открыть их, он смотрит на прохожих, слегка откидывает назад голову, и что-то гордое приподнимается в нем: прохожие ведь не знают, что он обыкновенный рабочий магазина, и поэтому должны думать о Мише как о начальнике. И он дольше возится с большими замками, связкой ключей и уже сам верит в свою особую причастность ко всему этому, а значит, и к еще более важному...

— Все могут короли! — напевает Миша, возвращаясь к магазину. — Душа в душу, — думает он о предстоящей зарплате — своих постоянных 90 рубчиках, и прохожие кажутся родственниками, которых он давно не видел.

Перетаскав мешки, Миша вручает ключи завмагу и, словно шелуху семечек, небрежно выплевывает:

— Все в порядке.

— Ты молодец, Миша, — рука молодой заведующей легла на его плечо и он на секунду замер, чувствуя упругую тяжесть прильнувшую к нему. В голове запрыгало много добрых слов, и Миша растроганно подумал, что за свои тридцать с лишним лет он еще не видел такого «душа в душу» начальника.

Когда Миша получил зарплату и пришел домой, было самое «пивное» время.

— На,— протянул он жене деньги,— ни копейки не потратил.

Шелест девяти красных бумажек наполнял его какой-то силой.

— Дай мне два рубля,— повертевшись возле жены, протянул он руку.

— Зачем? Пить будешь?

— Да я пиво,— Миша вскинул руку.

— И рубля хватит,— жена полезла в карман халата.

— Ну еще хоть немного мелочи дай.

— Иди, иди.

— Ну что, я не имею права, что ли? Я сегодня зарплату получил,— прозвенел Мишин голос.

— На, на! — жена сунула в его ладонь монеты. По дороге Миша посчитал деньги. Кроме как на бутылку, выходило еще и на одну кружку пива. Небогато, но Миша представил наполненный красный стакан и веселее заспешил к пивной. И было самое «пивное» время. Мишины рубль с мелочью в кармане его многоцветных помятых брюк не давали покоя. Он выискал какого-то замусоленного пьянчужку и потащил его за собой к магазину.

— Угощаю. «Замочим» по стаканчику,— мигнул он.

Мужичок, словно ему сейчас должны были дать кошелек с деньгами, оживился... Пили по полстакана, после второго Мише захотелось петь:

— Все могут короли!

— Братуха, пойдем пиво пить. У меня на

кружку есть, — Миша схватил замусоленного мужичка за плечо, и они пошли к пивной.

— Здорово, братишка, — приветствовал он встречающих. В этом районе города все хорошо знали друг друга. А каждый о другом больше, чем о себе.

— Душа в душу, — снова встретили Мишу у пивной. Он кому-то отдал деньги и через минуту втягивал в себя успокаивающие, разливавшие по телу прохладу глотки пива.

— А ну-ка спой что-нибудь, Миша, — крикнул моложе него лет на десять парень.

— Спеть, так спеть. С удовольствием...

Миша поднял руку с бокалом, выпятил грудь, которая стала похожа на узкий выгнутый фанерный лист, и тонко **вытянул:**

— А-а-а-а.

Потом потрянул черными с сединою кучеряшками, резанул свободной рукой воздух, наклонил к кому-то плечо и затопал внутри образовавшегося круга.

— Жил да был. Жил да был. Жил да был один король...

Миша изредка останавливался, поднимал кверху руку и нараспев провозглашал:

— Все могут короли!

С выползшей из брюк рубашкой, тонкий, он казался двадцатилетним парнем. А к пивной подкатывали, уносились и снова подъезжали машины...

Мишу угостили. Вытягивая пиво из второй кружки, поблескивая кнопками глаз, он «крутил свою философию».

— Жизнь — это душа в душу. Мене денег не надо, — отвечал он кому-то.

— И миллиона ты не хочешь? — насмешливо спросил Мишин ровесник.

— Мне миллион не надо, он душу портит, — Миша с удовольствием выжидал, что ему скажут.

— Уть, Миша, ты гений.

— Я гипноз. Я все знаю.

— А почему твоя жена в два раза толще тебя? Работаешь здорово, да, Миша?

Круг заколыхался от смеха.

— Миша, а что такое любовь?

— Это душа в душу. Ты этого не поймешь. Я знаю: ты сегодня думаешь, что бы и где стянуть завтра. А я нет. У меня моя душа, — Миша похлопал по груди, — моя душа со мной — душа в душу.

Подошли еще двое. Их он знает с детства. Эти двое, вроде друзья — пузатый и другой — со стеклянным глазом.

— О, как дела, Миша? — спросил Вадим — так звали толстого.

— Сто лет тебе жить, брат мой!

— Миша говорит, что ему миллион не нужен, — кто-то захотел продолжить прерванный разговор.

— А зачем ему деньги. Он же на складе работает. У него там сахар, мука, лимонад, — сказал Вадим, вскинув руку. Миша повел взглядом по лицам. Жирные и тощие — они кривились, расплзались в довольных улыбках. Мише показалось, что его загнали, одного, в какой-то лес.

— Братишка, ты смеешься надо мной? — Миша подошел к пузатому. — Ты надо мной не смейся. Я никого не обижал.

— Да что ты. Пусть тот дня не проживет, кто над тобой смеется. Ты ж артист.

— Пх-х-х,— стеклянноглазый хохотнул в бокал.

— Это вы артисты, не я. Я гипноз. Я все про вас знаю. Думаете, если у вас машины, другие ничего не понимают. Думаете, если вы шикаете, то все?.. — Миша вскинул голову.

Вдруг толстые пальцы рванули его за ворот. Он попробовал освободиться, но в следующее мгновение плюхнулся лицом в землю.

Миша медленно встал. Не слыша протяжных, откуда-то взявшихся женских криков, размазывая по лицу что-то теплое, видел выпученные глаза пузатого и чьи-то руки, удерживавшие его. Миша мог бы сейчас кинуться, расковырять эту вздувшуюся морду, но что-то мирное вползло в него.

— Ничего,— прохрипел он.— Душа в душу,—он соединил над собой вскинутые ладони и медленно пошел от пивной. На другой стороне улицы его остановили крики. Он повернулся. На том месте, где только лежал он, барахтались два человека. Миша узнал пузатого и пришедшего с ним стеклянноглазого.

Миша еще раз провел рукой по лицу, посмотрел на свою красную ладонь и снова услышал свой голос:

— Ничего.

Почему-то ему было очень спокойно, и не было никакой обиды и злости.

«Чего обижаться на людей, они сами себя обижают»,—плыла тихая мысль. Повернувшись, Миша пошел по улице.

Был теплый нешумный вечер с улыбающимся большим лицом луны. Миша протягивал к

луне руки и казалось: она слышит песню и ей хочется, чтобы он пел.

Прохожие поворачивались в его сторону, но он не видел покачиваний их голов и улыбок. Миша видел своих детей и жену, важные замки склада. Он просто и прочно шел ко всему этому, а лица тех — пузатого и других с их завтрашними неполадками—унесли куда-то вдаль, исчезли, а он шел, приветствуя встречаемых:

— Душа в душу!

ВЫБОР

Хаскиль посмотрел в небольшое окно. Двор был пуст. Он поднял стул и двумя руками вынес его из дома. Хаскиль осмотрел двор и поставил стул под окнами дома. Здесь была тень и, одновременно, грело солнце. Хаскиль сел, облокотился о спинку стула и прикрыл глаза. Ленивое тепло скользнуло к векам и стало растекаться по всему телу. Сейчас ему было хорошо, но вспомнилось почему-то недавнее раннее утро.

А было так. Неплотно сдвинутые шторы казались проемом дверей двух смежных комнат. Одной огромной там — за окном, другой здесь. В обеих жило раннее утро. Только за окном оно было светлей и уверенней, а в этих стенах еще чувствовалось беспокойство прошедшей ночи.

Хаскиль посмотрел на будильник. Начало шестого. В открытую форточку юркнул ветерок и заколыхал шторы. Они показались ему прозрачными сетями, в которых подрагивало

что-то легкое и невидимое. Это напомнило ему детство. Хаскиль с друзьями на маленькой речке. Их трое. Двое быстро ведут в воде растянутую сетку, а третий, впереди, вороочает шестом гальку дна. Они выводят сетку из воды и, увидев бьющуюся рыбку, радостно восклицают:

— Есть!

И сейчас снова утро. И шторы похожи на ту сетку, но нет прежней радости, чтобы просто сказать: есть. Есть новое утро, есть новое ожидание радости от идущей к тебе жизни. Теперь, когда он знал, сколько ему осталось, утра становились пытками...

...Хаскиль вздрогнул от звука открывшейся калитки. Это была Лие. Проходя мимо, она посмотрела на Хаскиля, и он понял ее немой вопрос. Лие теперь все же, наверное, жалела его — своего бывшего и единственного мужа. Жил с ней Хаскиль недолго — пять лет. Но за это время народили они троих детей. Потом появилась другая женщина. И он ушел к ней. Оставил всех троих детей и ушел. Один из сыновей умер в тяжелый год от голода. Сорок пять лет прошло с тех пор. А вот теперь его двое детей, уже имеющие внуков, узнали, что он умирает в другом городе, приехали и привезли его сюда, в бывший его дом. Но вчера он вдруг ясно понял: надо уезжать назад. Скорее, пока еще есть силы.

Не думал Хаскиль, что может так получиться. Последние месяцы, когда почувствовал «свой срок», стала жать его какая-то тоска. И стало тянуть его сюда, в этот двор. Чего он хотел? Чего ждал? Знал Хаскиль причину маяты своей. Прощение нужно было. Но за-

чем оно, зачем? Ведь не прибавляло оно ему ни дней, ни месяцев. И это знал Хаскиль, и все же хотел быть здесь.

И о другом думал Хаскиль. Ведь есть еще на земле и те люди, которые принесли несчастье и ему. И, может быть, стоит простить одному из них, тогда и Хаскилю простится если не все, то многое. Но случилось вчера другое.

А случилось так.

...Хаскиль вышел из переуллка и сразу увидел это длинное одноэтажное здание. Его можно было бы принять за вытянувшийся барак, если бы по обоим концам его не выступали над черепичной крышей вышки с часовыми и не вспарывали воздух несколько рядов колючей, над забором, проволоки. Это был не барак.

Здание уперлось в Хаскиля холодным взглядом решетчатых окон. Хаскиль опустил голову и пошел медленней.

Он подошел к широким ступеням, посмотрел на часы: пришел, как и намеревался, на пять минут позже. И теперь его, наверное, ждали. Хаскиль поднялся и потянул огромную ручку обитой железом двери. В приемной кроме Хаскиля никого не было. Молоденький сержант пошел к начальнику, и Хаскиль остался один в большой комнате. По всей ее длине стояли четыре ряда столов с длинными скамейками. Хаскиль хотел пройти в глубину комнаты, но посмотрел на дверь, в которой скрылся сержант, подошел к самой близкой скамье и медленно сел. Он с минуту смотрел на серость стен, сползающую к вытоптаным деревянным полам, и вдруг ему

стало казаться, что что-то тяжелое наваливается на его спину. Но Хаскиль не поднялся, так и остался сидеть спиной к двери.

Теперь ему снова все казалось нелепым и ненужным.

«А вдруг не поймет», — подумал он. И пожалел, что уговорил начальника тюрьмы разрешить встретиться с Ивилем.

Минут через двадцать раздался звук шагов. Сначала далеких, коридорно-гулких, потом, уже после взвизга открывшейся двери, неспешных и вопросительных. Хаскиль опустил ладони на колени и, словно ему было трудно повернуть тело, медленно повернул голову.

— Да, это я, — громко, расставляя слова, словно шахматные фигуры, сказал Хаскиль. Теперь он уже повернулся к Ивилю всем телом.

— Подожди, — остановил он хотевшего уйти Ивиля. — Не спеши. Может, последний раз видимся.

Ивиль вывел над плечом тяжелый подбородок и посмотрел на Хаскиля. Он помедлил еще, взглянул на сержанта и подошел к Хаскилю. Вместе с ними около Хаскиля остановился сержант.

— Десять минут разрешили, — сказал он. — Они сейчас на работе, — сержант кивнул в сторону Ивиля.

— Хорошо, спасибо, сынок, — ответил Хаскиль. Сержант отошел к дальнему окну.

— Чего хочешь? — Ивиль уколол взглядом. Хаскиль положил ладони на стол, и на исчерченном, грубом столе, ухоженные, гладкие, они показались безжизненными.

— Вот что, — начал Хаскиль, но смолк, про-

вел взглядом по черной с измятым воротником куртке и на секунду задержался на залоснившемся, когда-то, наверное, белом прямоугольном лоскутке с цифрой 5.

— Вот что,— продолжил Хаскиль,— тогда ты жестоко обошелся со мной, но что ж, сколько воды утекло уже. Лет шесть прошло, наверное. Теперь не хочу я помнить о том. Когда выйдешь отсюда, запомни: Хаскиль простил тебя.

Хаскиль увидел сверкнувшие глаза Ивиля, словно в них что-то неожиданно вспыхнуло и загорелось.

— Прощать при-и-ше-е-ол,— поднимавшимся голосом потянул Ивиль.— Там, на суде, нужно было прощать, когда от тебя зависело, сколько гудеть мне!

И вдруг, словно увидев что-то неожиданное, новое, осекся, замер и снова вытянул:

— Знаю, чего ты пришел. Вон какой у тебя цвет лица. Смерть почуял и приперся. Не нужно. Без тебя свос отбарабаню.

Хаскиль вздрогнул.

Но голос Ивиля рвался сильнее:

— Да я не жалею, что обчистил тогда тебя. Проща-а-ть пришел! А чем ты лучше меня? Что на тебе этой робы нет и что этого номера не таскаешь? Да ты такой же ворюга, как и я! Только хуже еще. Я ведь тяну лямку, а ты — нет. Ты вон сколько семье своей навредил, а другим семьям?! — Ивиль уже почти кричал.

— Заключенный номер пять! — хлестнул Ивиля громкий голос сержанта. Ивиль опустил голову и сгорбился.

— Мне бы уйти сейчас и не разговаривать

с тобой, мальчишкой. Но учти: и к тебе придет последний час, тогда ты вспомнишь о том, что жестоко обидел меня и во второй раз, что большое зло ты мне сделал,— сказал Хаскиль.

Ивиль вскинул голову.

— А ты не боишься? Ведь выйду, а потом — бац, и твоих детей обворую. А-а? Ты ведь меня простил, так и другой кто-нибудь простит.

Хаскиль отшатнулся и вдруг ясно услышал ту холодную мысль, которую он прятал от себя.

Лицо Ивиля стало куда-то уходить, но Хаскиль сжал ладонями лавку, увидел остановившиеся глаза Ивиля, тяжело поднялся и пошел к двери...

...Хаскиль почувствовал, как горит его голова. И только посмотрев в сторону, он увидел, что тень уже далеко ушла от его стула, и он, наверное, долго просидел под солнцем. Он поднялся и понес стул ко второму дому, стоявшему во дворе. Один — маленький был — Лис, а в этом, большом, со своими сыновьями и внукам жил старший сын Хаскиля.

Хаскиль поставил стул под одним из окон и в открытую форточку услышал тоненький плач.

— Тимка плачет,— сядь на стул, подумал Хаскиль,— мой правнук, — горечью окончилась мысль.

Правильно говорят люди: внуки слаще детей своих. А почему так? Наверное, живет в человеке неистрачиваемым запасом нежность. Отдаешь ее, но она снова, — словно не тронута. И требуется человеку отдавать и отдавать. Это можно сравнить только разве с

материнской грудью. Тут сама природа наливает ее нетерпеливой живительной упругостью. И если вдруг случается так, что некому вобрать в себя эту жизнь, она сгорает. Так и с нежностью. Так и с детьми и внуками. Мал человеческий век, но очень крохотное время дано, чтобы дети могли принимать нежность. Они взрослеют, уходят. Но человек еще не растратил и мизерной доли данной ему нежности, и тогда приходят внуки. Но и внуки взрослеют, тогда, если бог даст жизни, приходят правнуки. И у Хаскиля они есть. Но — чужой он все же для них. Хотя бы только потому, что не передали его имени внукам. Так и забудется его имя — Хаскиль. Хотя его никто в этом доме не обижает, не упрекает, чувствует он отчужденность. И теперь ему уже никогда не разорвать этой завесы.

А из комнаты все еще слышался Тимкин плач.

— Пойду посмотрю, — решил Хаскиль. Он зашел в комнату и увидел стоявшего лицом в угол правнука. Напротив, на диване, сидела его мать, молодая красивая женщина. Она привстала навстречу Хаскилю, предложила сесть, и раздраженно крикнула Тимке:

— Не три глаза! И не ной!

Тимка успокоился и, не поворачиваясь, протянул:

— Я больше не буду.

Хаскиль увидел, как женщина старается сдерживать улыбку, и понял: она специально задерживает ответ. Тогда, немного переждав, Тимка повернул измазанное лицо и спросил:

— Выходить?

Хаскиль рассмеялся с Тимкиной мамой и сквозь смех проговорил:

— И знает же этот двухлетний сорванец, что рано или поздно — простят!

Вдруг Хаскиль оборвал смех, вышел из дома, и перед ним встало случившееся после того, как он вернулся от Ивиля.

А так это было. Хаскиль открыл калитку и, стараясь никого не увидеть, прошел к домику Лие, где теперь его поселили. Он сел у стола в передней комнате и откинулся на спинку стула. Лие не было. Хаскиль вытянул ноги, они ныли. Болело сердце.

«Надо выпить лекарство, вымыть ноги и лечь», — подумал Хаскиль. Он расстегнул рубашку, снял туфли и носки. Зашла Лие, мельком взглянула на Хаскиля и прошла во вторую комнату.

— Постели, — сказал Хаскиль ей в спину. Она остановилась и спросила:

— Чаю налить?

— Нет, — ответил он быстро.

Лие пожала плечами.

— Вот ты сейчас и постелишь мне, — думал Хаскиль, слыша хлопки взбиваемых подушек, — и чай нальешь, если захочу. Стоит только захотеть. Захотеть.

— Лие, — позвал Хаскиль.

Она подошла.

— Ноги болят. Помоги помыть.

Хаскиль увидел усталые, ставшие от этого безразличными, глаза. Лие ничего не сказала. Возвратилась она с тазом, наполовину наполненным водой, поставила его у ног Хаскиля.

А зверек тот все больше метался в голове Хаскиля, становясь злее и злее. Хаскиль рез-

ко сунул ноги в воду, выплеснув ее на пол. Лие вернулась. Затем принесла полотенце, кусок мыла и старинный, отливавший серебром кувшин. Поставила кувшин, перебросила полотенце через плечо, наклонилась. Хаскиль увидел белые, аккуратно уложенные на затылке волосы, руки, которые на секунду застыли над тазом, а потом вошли в воду.

Он хотел что-то крикнуть, но из горла вырвался какой-то хрип. Хаскиль ударил ступней по тазу, вода брызнула Лие в лицо. Она отшатнулась, выпрямилась и, не вытирая стекавшую с лица воду, смотрела на Хаскиля. Он завалился на спинку стула и только смог крикнуть:

— Уйди! Уйди! Мне ничего не надо! Не на-до!...

...Хаскиль ходил по двору и снова говорил себе: уезжать надо, поскорее, пока не поздно. Дорога займет часа три, и он успеет добраться до своего города, дома. Но знал Хаскиль и другое: если уедет он, по этому маленькому городку разнесется слух, что Хаскиля выгнали.

Не дали старику, — скажут люди, — умереть в своем доме. Хаскиль представлял множество шепчущихся за спинами его детей лиц и понял: теперь он ни разу не сможет подумать о своем отъезде.

Умер Хаскиль на следующее утро.

...Тело Хаскиля стало **вздрагивать** из-за неудержимо вбиравшегося **холода**. Он позвал сына и успел прошептать:

— Я хотел...

Но договорить он не смог, **хотя** губы его, **похожие на жухлые, свернувшиеся листья**, продолжали шевелиться.

Тихая волна подняла и понесла Хаскиля. Он увидел какую-то комнату с огромным диваном. На нем сидело много людей. Он повернул к ним свое почерневшее лицо, и люди, протягивая к нему руки, стали смеяться. Из открывшегося рта Хаскиля вырвался и потянулся долгий крик:

— Выходить?! Выходить?!

Люди смеялись, тянули его за руки, Хаскиль хотел сделать шаг, но, словно приросшие к полу, ноги не слушались его...

СТАРЫЕ КАРТИНКИ

**История о том,
что всем в этом мире, увы,
не угодишь**

Однажды случилось так, что не успели Бэбэ и Бирор возвратиться к вечеру в Нальчик. Уже поблескивали в ночном небе холодные ясные звезды, а арба друзей еще только въезжала в далекое от города село. И лишь тускло мерцающие огоньки домов, да дружный, отчетливо разносившийся в ночи лай собак встречали гроыхающую по сельской дороге арбу друзей. Но на душе у них было спокойно и тепло, ибо знали Бэбэ и Бирор, что горцы — народ гостеприимный и всегда рады хорошим людям.

— Ты здесь кого-нибудь знаешь? — спросил Бирор.

— В лицо, может, да, а так — нет.

— Тогда давай попросимся к ним; — показал Бирор на светившееся по правую руку

окно дома; потянул вожжи, и верный друг Хар, которому не терпелось поскорее добраться до порции сена, почуяв, что они уже у цели, послушно повернул и остановился у плетеного забора.

Звяканье цепи и матерый лай рвались в сторону арбы.

Бирор несколько раз крикнул хозяина, но голос его был заглушен лаем пса.

Скоро со двора слышался мужской окрик, собака повиновалась ему, и лай сменился ослабленным звуком волочащейся по земле цепи.

— Кто это в такой час? — приблизился голос.

— Свои, — ответил Бирор.

После недолгих переговоров арба друзей въехала во двор. Хар нашел пристанище, сено и на ночь простился со своими друзьями.

При свете лампы, сидя за низеньким столиком, наблюдали Бэбэ и Бирор за горбоносым, широкоплечим стариком.

— Извините меня, дети мои, — говорил он. — Вы так поздно, что приготовить вам что-нибудь получше я не могу.

— Что ты, отец, это ты извини нас за беспокойство! — воскликнул Бирор.

Старик положил на стол три лакума и три яйца, поставил стаканы, рядом с табуреткой чайник и сел к друзьям.

— В Нальчике живет один такой Амирбек. Может, слышали что о нем? — спросил он, сцепив грубые, толстокожие пальцы.

Друзья удивленно переглянулись, и быстро шепнул на своем языке Бэбэ:

— Кажется, он моего отца имеет в виду. В селениях его так и называют. Но только не говори, что этой мой отец. Вдруг что-нибудь такое... Уж лучше пусть он не знает.

Бирор легким кивком головы дал знать, что это останется тайной до самой могилы, и сказал:

— А как же. Знаем Амирбека. Это мой отец.

— О, какая встреча! Сынок, дорогой, как ты вырос! Ты, наверное, меня не помнишь? Я не один раз бывал в доме твоего отца, моего друга и брата Амирбека! — воскликнул растроганно старик и поспешил прижать щеку Бирора к своей колючей бороде. Пришлось Бирору рассказать все последние новости о жизни отца Бэбэ.

— Да, я горжусь своим отцом! — закончил он, специально обращаясь уже не к старику, а к Бэбэ, и еле сдержал смех, увидев в тусклом свете лампы потускневшее лицо друга. А когда счастливый старик придвинул Бирору из трех лакумов и трех яиц по два, лицо Бэбэ скисло совсем.

А радость старика не уменьшалась. Он принес откуда-то бутылку самогона и выпил с Бирором почти по полному стакану.

В довершение всего Бирору была постелена с высокими перинами и белоснежными простынями постель, и, опершись о локоть, гордо, по-хански, взирал он со своей высоты на приютившегося на тахте Бэбэ.

Утром, когда арба друзей весело тряслась по дороге, уходящей из села, Бирор, хитро щурив глаза, почесал переносицу и, словно невзначай, сказал уставшему Бэбэ:

— Да-а-а, я никогда в жизни не был благодарен так твоему родному отцу Амирбеку, благодаря которому мне так сладко привелось провести ночь в пуховой постели.

— Ничего,— мстительно проворчал Бэбэ.— Моего отца знают не только в этом селении.

И сбылись слова Бэбэ.

Через несколько дней снова застала их ночь на краю одного села. И в этот раз получили ночлег Бэбэ и Бирор. А когда на стол была поставлена еда, Бэбэ с многозначительной усмешкой посмотрел на Бирора и сказал хозяину:

— Вы может быть слышали о таком Амирбеке из Нальчика. Так это мой отец.

Победно сверкнули в тусклом свете лампы его глаза, но через некоторое мгновение потухли они, ибо встретились с хмуро пронесшимся взглядом хозяина, который, многозначительно сказав: «Слышали, слышали мы о таком», почти всю еду подвинул к Бирору. А кроме этого, и на этот раз уплыла от Бэбэ мягкая чистая постель...

Утром, когда арба друзей весело тряслась по уходящей из села дороге, увидев усталые, прикрытые веки друга, Бирор обнял одной рукой его за плечи и, рассмеявшись, сказал:

— Не расстраивайся, брат мой. Просто в этом мире всем не угодишь.



**История о том,
что и осел не всегда осел,
а если уж он ваш друг, в том он не виноват**

Всему на свете приходит конец. Так случилось и с Бэбэ и Бирором: уговорили их все же жениться.

Первым сдался Бэбэ. А что оставалось в этом случае Бирору? Только поддержать друга.

Раз мужчина дал слово — надо выполнить. И стали в домах Бэбэ и Бирора готовиться к свадьбам.

Ну, раз свадьба, своя семья, решили друзья поделить меж собой все заработанное в честных трудах. С деньгами было просто: копейка — тебе, копейка — мне; две — тебе, две — мне. И все дела. Сложнее оказалось с ослом Харом. Сначала решили Бэбэ и Бирор продать его. И на базар привели, и хороший покупатель отыскался, и уже деньги в кармане были. Но когда рука покупателя взяла узду и повела осла, ослабели сердца Бэбэ и Бирора, словно по их вине уходил в последний путь лучший товарищ. А как быть? Ведь пять минут назад они так расхваливали Хара, что в глазах покупателя он стал выглядеть чуть ли не аэропланом. Какой же осел вернет назад такого осла?

— Брат мой, подожди! — вдруг крикнул Бирор. — Подожди! Не торопись!

Подбежали Бирор и Бэбэ к покупателю, и, брезгливо ткнув пальцем ослу в ухо, затараторил Бирор:

— Посмотри, брат мой, какие у него уши, ну разве у нормальных ослов такие бывают?

А морда? Длинная, как у нашего друга Шима. А Шим совсем ненормальный. Если бы ты знал, какая у него жена. В дом к нему не войди. Вина не выпей. Если бы хоть сама что-нибудь представляла, а то... страшно сказать. Лучше не скажу, а то приснится, и не то что осла, вообще пропадет охота покупать что-нибудь. И как только Шим живет с ней? Высох бедняга весь. Во какой стал,— Бирор вскинул суковатый палец.— Понял? Ты его если увидишь — сразу узнаешь. Так он завтра и горбатым станет и кричать как тот Хар будет. Так что не достоин этот старый баран служить такому уважаемому хозяину, как ты. Возьми свои деньги. На свете ослы пока еще есть. Найдешь себе.

Бирор быстро сунул в руку растроганного покупателя деньги, взял узду и повел Хара за собой.

— Ну что будем делать? — спросил Бирор, когда позади остались базарный шум и толкотня.

— Не знаю. Дойдем сначала до дома, а там посмотрим...

Цокают о булыжную мостовую копыта Хара, и идут, свесив головы, Бэбэ и Бирор. Скоро показался знакомый угловой дом. Свернешь — и через несколько шагов дом Бэбэ, а пройдешь чуть дальше и свернешь еще раз — там улица Бирора.

В переулке, у деревянных скосившихся ворот заметил Хар траву и, точно больше ничего и никого на свете не было, затрусил к ней.

— И зачем мы его не продали? — огорчился Бэбэ такой непочтительности Хара.

— Кто может предугадать поступки осла? — оправдался Бирор.

— Ну что ж мы теперь с ним будем делать? И продавать жалко. И просто так отдать тоже жалко.

Бирор развел руками.

— Пстой, — вдруг обрадованно сказал он. — Ты прав: и продавать жалко, и отдавать жалко. Пусть он останется у кого-нибудь из нас. Вот смотри: живет он у тебя. Допустим, соскучился я по тебе, прихожу, смотрю на Хара, и его один только вид мне сразу напоминает обо всех наших приключениях. А-а?

— Пусть — тебе осел родней будет, — обиженно прогудел Бэбэ.

— Ну ладно, хорошо, пусть мне. Но что ты об этом думаешь?

Бэбэ несколько секунд смотрел на чамкающие губы Хара и сказал:

— Правильно. А останется он пусть тебе.

— Ты что? Так не пойдет. Надо честно. Я придумал. Давай по очереди будем звать его. На чей голос придет — у того и будет жить Хар. А-а?

Бэбэ почесал в тяжелом затылке и сказал:

— Правильно придумал. Начинай.

— Нст. Ты старше меня, ты и начинай. А то я позову, а он возьмет и придет. Мне неудобно будет. Зови первым.

— В том-то и дело, что старший. А вдруг, я позову, и он ко мне придет? Что тогда люди скажут, а-а? Скажут, что младшего друга, брата обидел. Нет, говори первым ты.

— Ни за что. Пусть моя свадьба не состоится, если я тебя обижу.

— А моя что — хуже? — Бэбэ хитро показывал толстым волосатым пальцем.

— Не хуже...

— Нет,— говорил Бэбэ.

— Ты,— отвечая Бирор.

— Ни за что в жизни! — сопротивлялся Бэбэ.

— Ты! — наступал Бирор.

— Что б я обидел тебя? Ты что! Помнишь, как ты меня спас, когда я чуть не утонул? Ты что?

— А ты забыл, как благодаря тебе моя голова целой осталась? Если б ты не вмешался... Эх, чтоб тогда без меня моя мать делала? — растроганно сказал Бирор. — Да-а-а. Не буду, конечно, обманывать, не скажу, что она тебя больше любит, чем меня, но, клянусь, не меньше. Слышишь, Бэбэ, пойдем к нам. Мать обрадуется. Посидим. Выпьем по стаканчику. Пошли, а?

— Ну что ты? Конечно, пойдем, — растрогался и Бэбэ.

В глубине двора, под тутовым деревом, на тахте сидела мать Бирора и что-то шила.

— О-о. Женихи пришли. Радостен приход твой, Бэбэ,— поднялась она навстречу друзьям.— Проходи, Бэбэ. проходи. Какие вести из вашего дома?

— Живем! — весело прогудел Бэбэ, чувствующий себя в доме друга, как в своем...

После второго стакана Бэбэ фыркнул и потряс головой.

— Не быть моему отцу в трауре, точно как наш Хар,— загоготал Бирор и, вдруг оборвав смех, посмотрел на Бэбэ и увидел, что и его глаза настороженно напряглись.

— Подожди,— продолжая медленно жевать, сказал Бэбэ,— а наш Хар ведь там остался?!

— А-а. Не переживай. Его весь город знает. Если заблудится, кто-нибудь да и привсдет. Но только это не такой осел, чтоб заблудиться.

— Нет, подожди. Нельзя так. Заблудиться не заблудится, но что люди скажут?

— А что они могут сказать: бедные Бэбэ и Бирор — совсем замучил их этот ишак.

— Нет. Мы с тобой уже взрослые люди, Бирор. Пошли.

— Куда же, не поевши? — всплеснула руками мать, увидев встающих из-за стола друзей. Бэбэ посмотрел на друга растерянными большими глазами..

— Да мы скоро. Только сейчас вспомнили, что одного товарища найти надо, — виновато ответил Бирор.

За поворотом остолбснели: Хара не было видно.

— Говорил же тебе,— прогудел Бэбэ.

— Да стой ты,— озирался по сторонам Бирор.

— Стой не стой, а теперь на Хара не сядешь,— проворчал Бэбэ и медленно пошел к скривившемуся забору, у которого бедный Хар щипал зеленую травку.

— Тьфу,— остановился он вдруг: недалеко от забора, отгоняя хвостом мух, возлежал на боку Хар.

Бирор сорвал с тополя ветку, очистил ее от листьев и быстро пошел к нему.

— Это — тебе, осел, осла порожденье,— стеганул он Хара.

Медленно поднялась серая, с желтоватомутными глазами голова, равнодушно осмотрела нависшие над ней злые лица Бэбэ и Бирора и снова завалилась на пыльную мостовую.

— А ну вставай, собачий сын,— еще больше разозлился Бирор и снова стегнул осла.

— Чего он хочет? — весело проходили знакомые.

— Как чего? Он у нас очень умный. Не видите, что ли. Вы, говорит, за день очень устали, отдыхать нужно, да и жара какая! — Бирор снова стегнул Хара.

Вдруг осел вскочил и, цокая копытами, легко затрусил по булыжной мостовой.

На жаркой улице, спрятавшись в тени дерева, сидели, рассуждая о делах, старики.

— Эй, что вы это делаете? — с улыбкой крикнул один из них бегущим за ослом Бэбэ и Бирору.

— Как что? Осла бегать учим. Скоро ослиные соревнования будут.

А отдохнувшего Хара, как ни пытались Бэбэ и Бирор,— остановить было невозможно, и он настойчиво кружил по одним и тем же улицам.

— Если ты не осел, то почему бежишь мимо одних и тех же людей?! — не выдержал и закричал ему вслед Бирор.

И вдруг, словно поняв слова Бирора, Хар свернул за первый поворот и, пробежав немного, остановился у старого тополя.

— Опять ему что-то взбрело на ум,— тяжело дыша, проговорил Бэбэ.

Хар повернул морду и вдруг во всю свою

ослиную силу, взхлеб заревел: «И-их-га-а, и-их-га-а».

— Молчи! — озираясь, крикнул Бирор и удивленно замер.

— Бэбэ, брат мой, посмотри, куда он нас притащил, — медленно проговорил он, кивнув на ворота, против которых они стояли.

— И вправду. Это ведь дом старика Казбека, — ответил Бэбэ, удивленно переводя взгляд с Хара на маленький саманный домик, в который частенько заходили Бэбэ и Бирор, чтоб отведать стакан-два самогончика. Но, подумав о чем-то, Бэбэ мрачно выпятил губы и, кивнув на Хара, произнес:

— Враг он нам. Знает, что через несколько дней свадьба — и решил спойть.

— Точно. Враг. Бить его надо, — замахнулся Бирор, но опустил руку и, уводя взгляд от Бэбэ, вздохнув, продолжил: — Враг-то он враг, но, мне показалось, старик Казбек заметил нас. Уйдем — обидится, а?

Бэбэ по привычке перед тем, как принять важное решение, почесал в своем тяжелом затылке.

— Да-а-а. Ну теперь что ж, раз заметил, то придется зайти, — мудро кивнул он несколько раз головой.

Через полчаса из двора старика Казбека, покачиваясь, в обнимку, вышли Бэбэ и Бирор. Бирор разводил рукой, поворачивал к себе друга и, стуча пальцем по его широкой груди, восхищался жизнью:

— Эх, какью, хоршью жысс челвеку бог придумал. Ла-а?

Бэбэ вбирал его в свои широкие объятия и чмокал в обе щеки.

— А за это мы не пили. Пшли,— вскидывал руку Бирор.

— Нет. Домой. Вишь,— качнул головой Бэбэ и показал на Хара.

— Вижу. Кажется мне, Хар привел еще одного. Вишь?

— А мы хотели продать. Как же так, Бирор?! Мы хотели продать. Разве мы люди? А?

— Ага. Ты на одного, я на другого. Пшли,— махнул Бирор рукой.

Они подошли к Хару с обеих сторон, попытались влезть, но стукнулись лбами и коленями.

— Бэбэ, убери своего осла,— попросил Бирор.— Он мешает.

— Сейчас мы проедем. — Бэбэ продвинулся к гриве Хара и закинул ногу.

— Вот теперь нормально,— Бирор влез на Хара сзади друга, и Хар, точно только этого и ждал, степенно пошел по мостовой.

...Бирор проснулся от чавкающего звука, словно кто-то около его уха в порванных башмаках переминался с ноги на ногу. Сначала он увидел морду Хара, что-то усердно пережевывающего, потом Бэбэ, лежавшего с ним рядом на тахте; осторожно откинул одеяло и заметил мгновенно открывшиеся глаза друга.

— Ты уже не спишь?

— Э-э-э,— потянулся Бэбэ.

Оба сели, посмотрели друг на друга — и в утренней свежей тишине покатылся по двору их смех. Из дома вышла мать Бэбэ, покачала головой и сказала:

— Что смеетесь? Хорошенькие же вы были

вчера. Если б не Хар, не знаю, как бы вы добрались. Сидим вечером, смотрим: открывается калитка и входит Хар, а на нем еще два Хара. Сами на осле еле держались, да еще и песни пели. Пришлось вас здесь во дворе и уложить.

— Ну, ничего, мы больше не будем,— оправдался Бэбэ перед матерью. А когда она отошла, Бирор посмотрел на друга, потом кивнул в сторону Хара, хитро почесал переносицу и сказал:

— Как ты думаешь, Бэбэ, а почему бы нам снова не купить арбу? А-а?

— Правильно говоришь, действительно, что он один... без арбы? А мы без дорог... Ну что, после свадьбы -- за арбой?

— За арбой.

ЩЕЛБАНЫ

На второй десятиминутной перемене Сашка бегал домой, успевал на ходу перекусить и приносил орехи.

Они были большие и вкусные, острые в концах, точно слепленные из двух лодок.

Сашка и сам был похож на крупный крепкий орех и считал себя самым сильным в своем четвертом «Б» классе. Впереди него, на третьей парте, сидел Семка — черноволосый с щуплым затылком.

В начале урока Сашка клал на передний край парты орех и тайком от учителя толкал Семку в плечо.

Не поворачивая спины, тот оглядывался и неизменно видел громадный орех.

Семка любил орехи, тем более к третьей перемене ему уже хотелось есть, а денег у него часто не было.

Не было их постоянно и у Семкиной матери. Потому что ее зарплаты на троих — на себя, Семку, его брата Лешку — обычно не хватало.

А отца у Семки не было. Вернее, прошло уже два года, как отец уехал к какой-то женщине.

Прозвенел звонок, вышел учитель, и класс стал похож на большую коробку с окнами и скачущими в ней бело-синими мячиками.

— Хочешь? — спросил Сашка, подбросив на ладони орех.

Вздохнув, Семка кивнул головой.

— Три щелбана, — поставил свое обычное условие Сашка.

Они вышли из класса, остановились в углу коридора.

— Давай, — вскинул подбородком Сашка и поднял руку.

Семка закрыл глаза и подставил лоб.

— Раз! — щелкнул Сашка и, попружинив рукой, точно желая усилить удар, щелкнул еще раз.

— Два!.. Три-и!

Семка почесал лоб и взял орех.

— Еще? — спросил Сашка.

Семка посмотрел на орех и, снова вздохнув, кивнул головой.

— Подставляй, — довольным голосом сказал Сашка и занес руку.

— Раз!.. Два!.. Три-и! — последний щелбан он старался нанести сильнее.

Семка забирал орех, а Сашка доставал другой:

— Еще?

— Последний, — соглашался Семка и, получив девятый щелбан, забирал третий орех, выходил из школы и, найдя камень, где-нибудь в стороне раскалывал орехи.

На соседней с Сашкиной парте сидела коротко стриженная, светловолосая Таня. Сашка любил ее.

И перед началом каждого урока, в те секунды, когда учитель проходил от двери к столу и разрешал садиться, Сашка брал Танину руку, и они так стояли, глядя вперед, перебирая теплые пальцы друг друга.

Однажды, когда Сашка в четвертый раз выменивал орехи на щелбаны, Таня заметила это.

— Как тебе не стыдно! — сказала она, когда Семка ушел. — Их и так отец бросил.

— Кого? — спросил Сашка.

— Семку, его маму и его брата.

В начале урока Сашка, как всегда, коснулся ее ладони, но Таня отдернула руку. Почти весь урок Сашка смотрел на Семкин затылок и заметил, что у него он какой-то щуплый.

На следующий день Сашка набил свой портфель орехами и яблоками и, дождавшись перед уроками Семку, сказал ему:

— Надо поговорить. Как мужчина с женщиной.

Они зашли в лестничный тупик.

— Ты на меня не обижайся, — попросил Сашка. — За орехи.

Семка отвел глаза.

Неожиданно Сашка присел на корточки и, подставив лоб, сказал:

— Бей! Двадцать щелбанов!

Семка растерянно смотрел на круглое Сашкино лицо.

— Как мужчину прошу! Бей!

Семка поставил портфель к ноге и, удивленно глядя на Сашку, замер.

— Бей же!

Семка занес руку над Сашкиным лбом и вlepил щелбан.

— Раз! — посчитал он.

— Сильнее! — Сашка зажмурил глаза.

— Два!

— Та-ак!

— Три-и!

— Во-от! — зажмуренное Сашкино лицо стало расплываться в улыбке.

— Четыре! — улыбнулся и Семка.

— Пять!

Сашка открыл глаза и, встретившись с веселым Семкиным взглядом, рассмеялся.

— Давай, — хохоча сказал он.

— Шесть! — щелкнул Семка по прыгающему от смеха Сашкиному лбу и рассмеялся сам.

— Сильней! — крикнул Сашка.

— Семь! Хватит, — хохоча, Семка держался за живот и, кажется, не смеялся так уже целых сто лет, с тех пор как папа ушел к другой женщине.

РАЗ! ДВА! ТРИ!

Белая «ноль одиннадцатая» шла по улице легко и величаво. Асой представлял со стороны сверкающую под солнцем свою машину и специально сегодня не давил на газ.

Именно сегодня: день приятный, теплый и — главное — впереди встреча с невестой. Сегодня они подадут заявление в загс. Он с Жанной и его друг Офтум со своей невестой. А сейчас они с Офтумом едут к своим будущим женам. Величаво идет машина, улыбается день и звучит в салоне музыка.

Асой посмотрел на друга. Важно, откинувшись на спинку сиденья, после долгой затяжки он медленно выводит руку в окно, легким и небрежным ударом пальца стряхивает пепел.

Казалось, будто не кто иной, а именно он, Офтум, только-только создал землю, воздух, человека и все остальное и теперь, осматривая свое создание, приходит к снисходительно-гордой мысли:

— Да, ничего лучше и не придумаешь.

Асой засмеялся сверхважному горбоносому профилю друга.

— Что увидел? — повернулся тот, готовый присоединиться к смеху, но, уловив в карих, чуть раскосых глазах Асою насмешливые искорки, насторожился.

— Ничего. Просто у тебя такой вид, что ограбить хочется, — ответил Асой.

— Молчи, салабон!

— Слава богу, что ты родился раньше всего на три дня, а не на четыре.

— Рули, рули. А то вместо двух пар сегодня в загс попадет одна,— добродушно пригрозил Офтум и легко ударил пальцами по брелку — пушистому зеленоглазому котенку, висевшему под зеркалом.

— Ты лучше скажи, почему эту кошку нацепил? И там,— усмехнулся Офтум и повернулся к заднему стеклу, в углах которого, кивая мордами в такт езды, полулежали два плюшевых рыжих кота.

— К хорошему это не приведет. Хоть бы одна. А тут — сразу три.

— Не ной. А то высажу, и ни в какой загс ты сегодня не попадешь.

— Не быть моему отцу по мне в трауре, но как время бежит. Кажется, совсем недавно я тебя из роддома на этих руках выносил. А потом танцевал и на радостях детишкам конфеты раздавал. А теперь смотри — жених. Сегодня вместе со мной в загс идет. Радуюсь я за тебя. Только старших уважать надо. Если бы я не нашел тебе невесту, не было бы для тебя сегодняшнего дня.— Офтум покровительственно вскинул руку, потом нажал на кнопку магнитофона, переключил кассету, и в салоне зазвучала танцевальная кавказская мелодия.

— Так что спасибо мне скажи, что будешь на своей свадьбе пить.

— Еще до загса доехать надо.

— Доедем. И заявление подадим и вместе две свадьбы сыграем,— Офтум похлопал по плечу Асою.

Машина подходила к повороту. Асой снизил скорость. «Жигули» легко вынырнули из-за угла.

— Ну вот, почти и подъехали к твоей Жанне,— весело сказал Офтум и ткнул пальцем в стекло,— смотри!

На тротуаре чинно сидели три пса. Машина поравнялась с ними.

Вдруг Офтум высунул голову и зарычал:

— Р-рр, гавв!

Собаки угрожающе осклабились, но оставались на своих местах.

Тогда Офтум снова, но чуть злее, подразнил их.

Псы озлобились больше, но продолжали сидеть.

Офтуму это показалось обидным, он приоткрыл на ходу дверь и, словно царапая воздух растопыренными пальцами, загавкал и зарычал с большим усердием.

Псы не выдержали этого неожиданного оскорбления среди такого прекрасного весеннего дня, бешено сорвались с места и ринулись к дверце Офтума.

Он захлопнул ее и теперь, уже в окно, еще раз подразнил собак.

Подняв ожесточенный лай, они неслись за сверкающим, наполненным танцевальной музыкой «жигулёнком».

Асой сначала смсялся, но, заметив, что псы не отстают и, извергая бешеный лай, несутся с обеих сторон машины, озабоченно посерьезнел.

«Жигули» подъезжали к дому невесты Асои.

— Надо было тебе это? На руках держал... конфеты давал...— недовольно пробурчал он.

Машина остановилась, Асой выключил магнитофон, зажигание. Через несколько

мгновений у обеих дверей и впереди машины встали псы.

Асой и Офтум, словно сговорившись, быстро завращали ручками стеклоподъемника, закрыли окна.

— Ну что? Догавкался?! — раздраженно спросил Асой.

— А что я? — виновато посмотрел в сторону Офтум.

— А что-о? Выходи теперь.

— И выйду, — он щелкнул дверной ручкой, но, услышав убедительное рычание, прихлопнул дверь.

— Шумит, зараза, — вздохнул он. — Попробуй ты. Ты ж не дразнил. — Асой осторожно потянул ручку, но в ответ увидел зло обнажившиеся желтые, острые клинья зубов.

— Со-участник, — засмеялся и мгновенно виновато смолк Офтум. Некоторое время сидели молча.

— Может, напугать их, — рассеянно сказал Асой, достал из-под сиденья топорик, и пригрозил псу.

— Видишь!

— Уа-а-а, — вывела кверху морду и равнодушно зевнула собака.

— Эх, — решительно сказал Офтум, чуть приоткрыл окно и крикнул:

— Пошел.

Пес гавкнул.

— Молчи, — рванул за руку Офтума Асой и кивнул в сторону ворот, — Жанна услышит. Не дай бог, выйдет. Тогда что?.. Конфеты раздавал... В роддом ездил... Только барану придет в голову перед загсом собак дразнить. Умный так не сделает... Гр-рр...

— Давай вперед! — вдруг радостно воскликнул Офтум.

— Что вперед? Не видишь, что ли? — Асой показал на собаку, сидевшую перед машиной.

— Испугается! Убежит! Включай!

Асой включил зажигание, осторожно тронул машину. Прошли метр. Раздался лай. Асой резко выдал педаль тормоза.

— Не уходит. Задавлю так.

— Слушай, давай назад! — снова обрадовался Офтум.

— Там тоже сидит, наверное. Они не дураки.

— Стой, а разве их не три было?

— По-моему, три.

— А если четыре?

— Включай! Три! Это точно!

Асой включил зажигание, четвертую скорость, машина пошла назад, и снова раздался лай.

— Четыре! — затормозил Асой.

— Бедному жениться и ночь коротка.

— Давай еще! Может, эта не выдержит, — воодушевлял Офтум. — А может, она пролезет, как под танком?

Асой выжал сцепление, сдал назад, но снова раздался отрывистый лай.

— Не уходит.

Заглушили мотор.

— Хорошо, что дом у них не с улицы. Не дай бог, Жанна бы вышла. Эх, и достался же мне друг, — Асой посмотрел на часы. Неумолимо быстро совершала свои круги секундная стрелка.

Асой крутанул висящего под зеркалом ко-
тенка.

— Стой! — воскликнул Офтум. — Я придумал. Голова моя умная! — Он поцеловал сведенные вместе кончики пальцев и потом приложил их ко лбу, точно передал поцелуй своей голове.

— Может, не надо, — усмехнулся Асой.

— Ну хорошо, хорошо. Виноват я! Думаешь, мне самому в загс не хочется?! Еще как. И пойдем мы. Увидишь. Слушай. Скажи: любили когда-нибудь собаки кошек?

— Не морочь голову!

— Любили?.. Нет! А наоборот — тем более... Понял?

— Понял, что с тобой делать надо.

— Подожди. У нас остался один выход. Берем всех твоих кошек. — Офтум показал на брелок и на заднее стекло. — Показываем им. Собаки начинают злиться, а мы открываем окно и раз — выбрасываем. Собаки за кошками, а мы тоже хоп — и во двор.

— Да-да, во двор... Эти кошки, с магарычами, мне в сто рублей обошлись. Два дня их обмывали... Это тебя надо бы подальше...

— Тогда выбирай: или твои дохлые кошки, или невеста.

Асой представил Жанну в фате, белоснежном венчальном платье.

Рядом с ней на высоком табурете восседают три отливающих золотом кота. Жанна протягивает к Асою ладони, но он отводит их, бережно берет на руки котов.

Невеста в горечи и отчаянии срывает фату, обручальное кольцо, рыдая делает несколько быстрых шагов и вдруг отрывается от земли. Асой рассеянно отбрасывает котов, тянется

за Жанной, но поздно. Она взлетает в небо и растворяется в облаках...

— Давай! А если не клюнут? Видишь, какие умные.— махнул рукой Асой.

— Если уж собаки за кошками не побегут, тогда, считай, мир перевернулся.

— Давай. Черт с ними! — Офтум с удовольствием полез за кошками, одну передал Асою, сорвал брелок.

— Делай за мной! — приказал он другу. стал тыкать морды кошек в стекло и вдохновенно мяукать и рычать:

— Мя-у-у, мя-у-у, р-р-р,— замаякал за ним Асой.

— Ты что, не ел сегодня?! Громче давай! Мя-у-у! Еще жениться хочет! Смотри, как я,— громко сказал Офтум, грозно сдвинул брови и сильнее напряг голосовые связки.

Беспокойно оглядываясь на ворота, Асой стал рычать, и салон наполнился дикими звуками, словно это был какой-то кошачье-собачий питомник.

— Ага-а! Залаяла! Мя-у-у! — воодушевлялся все больше Офтум.— Давай, Асойчик, давай! — Первую собаку поддержали две остальные.

— Та-ак! Теперь я делаю три мя-у, на третьем открываем окна и выбрасываем котов? Мя-у. Понял?

— Давай.

— Мя-у, раз, мя-у два, мя-ав! — Быстро опустили окна и маленький пушистый котенок с двумя рыжими вылетел на дорогу. Собаки ринулись за ними. Мгновенно открылись дверцы машины и два молодых человека че-

рез секунду оказались за воротами. Захлопнулась калитка.

— Фу-ух! Что бы ты делал без меня?! — еще не отдышавшись, но уже важно выговорил Офтум.

— И где я только нашел тебя? — выдыхал Асой.

Отдыхались. Осмотрели друг друга. И вдруг рассмеялись.

— Р-р-р,— тыкал пальцем в Асою Офтум.

— Мя-у,— смеясь отвечал Асой. Друзья не заметили, как в глубине двора на пороге дома появилась темноволосая лет восемнадцати девушка — невеста Асои.

— У Офтума лучше получается,— сквозь смех крикнула она. Друзья растерянно переглянулись.

— Добрый вечер! — учтиво проговорил Офтум. — Это-о... день! — опомнился он.

— Молчал бы,— шепнул Асой и, растянув в улыбке рот, громко сказал другу:

— Проходи, проходи.

— Вы уже, наверное, заранее отметили? — улыбаясь, спросила Жанна.

— Да не-ет. Просто по телевизору мультки показывали про собачек и кошек. Еле его оторвал,— с напускным весельем ответил Асой.

Вошли в дом. В зале их встретила невысокая женщина, мать Жанны:

— Радостен приход ваш! Проходите!

— Спасибо! — ответили, разом друзья.

— Вы садитесь,— показала Жанна на диван,— я сейчас,— и она зашла в смежную комнату.

Асой и Офтум сели.

— Как дела?

— Да вот... Идем сегодня! — многозначительно ответил Офтум.

— Вижу, вижу. Бог вам в друзья!

— Спасибо.

— Может, покушаете?

— Мы ели, — ответил Асой.

— Ну, я хоть чаю поставлю.

— Да не беспокойтесь, тетя Роза.

— Ничего, ничего, — сказала Жаннина мать и вышла.

— Может, пойти посмотреть, ушли они или нет? — словно у себя спросил Асой.

— Не надо глаза им мозолить. Пусть посидят подождут. Увидят, что нас нет, — исчезнут. У собак тоже свои дела бывают, — как всегда, с умным видом сказал Офтум, весело затарабанил по столу пальцами и счастливо пропел:

— Миллион, миллион алых роз.

Тем временем к воротам подходил Илья — отец Жанны, полный, с тоненькими щеточками усов и лукавыми глазами.

— Эти в кино пришли, что ли? — приостановился он, увидев у машины будущего зятя трех собак с кошками в лапах. Немного поразмыслив, он взмахнул рукой и крикнул: — Пшли! Пшли!

Собаки, взяв зубами кошек, нехотя повиновались.

Илья несколько мгновений провожал взглядом лениво отходящих собак, затем зашел во двор.

Войдя в дом, поприветствовал друзей и весело проговорил:

— Чего только не увидишь, пока не умрешь.

— А что? — спросил Асой.

— Подхожу к дому, а около твоей машины три собачки. Сидят, как будто телевизор смотрят. И перед каждой какие-то игрушки. Может, это они вам свадебный подарок приготовили?

— Да не-ет. Мы к ним никакого отношения не имеем,— заверил Илью Офтум и многозначительно посмотрел на друга.

— А то я их прогнал. И уходить не хотели, словно я у них будки отнял. Но ушли все-таки...

Асой и Офтум переглянулись.

— Ну как дела, друзья-братья?

— Спасибо.

В зал с чашками и чайником в руках вошла Роза. В дверях, одетая в светлое платье, с небольшим вырезом на высокой груди, появилась Жанна.

Друзья встали.

— А как же чай? — спросила Роза.

— Они такого цвета не употребляют. Ты бы им беленького чая принесла и огурчиков,— подмигнул Илья друзьям.

— Да нет.

— Ну, мы пошли,— сказал Асой.

— Счастливой вам дороги,— растроганно произнесла Роза.

— Потом заходите,— снова подмигнул Илья.

Когда подходили к машине, Офтум словно невзначай проронил:

— А жаль, что мы с ними больше не увидимся.

— С кем? — спросила Жанна.

— С его друзьями,— ухмыльнувшись, опередил друга Асой.

Офтум смело открыл калитку и, выйдя, остолбенел: у машины лицом к нему, с кошками у лап торжествующе сидели три пса.

— Что стал? — спросил Асой.

— Тихо. Они вернулись и ждут, — негромко ответил Офтум. И втолкнув друга во двор, резко закрыл калитку.

— Что случилось? — удивилась Жанна.

— Рубашку! Опять не погладил! — кинулся к Асою Офтум. Вобрал углы ворота в кулаки и стал усердно мять, — А ну давай снимай! Так в загс не примут. Так, снимай! Вот, — Офтум снял с друга рубашку и протянул Жанне, — видишь какая помятая?

— Что это с вами?

Асой растерянно развел руками.

— В помятых, говорят, не записывают в загсе, — убедительно сказал Офтум.

Жанна взяла рубашку, провела ладонью по измятому вороту и удивленно вскинула плечи.

— Странные вы какие-то сегодня. Пойду поглажу.

А на улице, возле машины, словно в ожидании, внимательно смотря на калитку, сидели три пса.

— Укусят, не ходи! — доносился до них громкий голос Асоя.

— Я виноват, я и пойду, — слышался решительный ответ Офтума. — Ты оставайся здесь.

— Нет! Я с тобой! Ты возьми тот лом, а я — кирпичи.

— Ничего не надо! Человек я или нет?! Горец или нет! Так поговорю с ними по-человечески.

Из-за ворот донесся до псов звон упавшего

на асфальт лома, удары кирпичей и решительные вслед слова:

— Ну я пошел!

— Вместе.

Два друга — Офтум в распахнутом батнике и голый по пояс Асой — шагнули к калитке.

Выдохнув, Офтум потянул ручку калитки.

В метрах тридцати от них легкой трусцой удалялись собаки, а около машины лежали брелок и два рыжих плюшевых кота.

ПЕРЕМИРИЕ

Георг, Танхо и Андрей — двадцатилетние парни, трио национальных инструментов, заканчивали гастроли в одном из курортных городов.

Уже прошло два дня как они отработали последний концерт и, казалось, все было как надо, но вдруг ребята рассорились.

Георг и Андрей торопились домой и готовы были сейчас же собрать свои инструменты и чемоданчики, но старший в трио — большеглазый, стройный гармонист Танхо никак не мог расстаться с одной из трех девушек, с которыми друзья познакомились после первого концерта.

Трио стало походить на струну, готовую вот-вот лопнуть. Нужен был лишь легкий щипок.

Этим щипком оказался беспощадно палящий день, ворчанье доулиста Андрея, который тяжело нес по раскаленной улице грузноватое тело и все время уговаривал друзей перейти на другую сторону в тень. Но до гостиницы

оставалось сотни две шагов, и Танхо с Георгом не хотели переходить улицу.

Так и плелись друг за другом с распахнутыми рубашками.

— Что за жизнь пошла? Каждый только себя знает,— ворчал Андрей,— теперь и брат брату не брат. А что тогда про них говорить. Если я даже упаду сейчас, не дай бог, и сгорию на этом черном асфальте — не подойдут. Жарко, скажут.

— Да прожить мне до того дня, когда ты свалишься,— усмехнулся Георг, подняв худощавые руки.— Ты со своим «мозолем» сам кого хочешь свалишь.

— И что людям от моего честного живота надо. Таким, как ты, нужно быть, что ли? Вилка волосатая. У тебя живот со спины просвечивается. Вон, даже компот вижу, с вишнями.

— А-а,— не поворачиваясь, отмахнулся Георг.

— Иди, иди, зурна усатая.

— Помолчал бы, барабан,— не выдержал Георг.

— Ты это на что намскаешь? — приостановился Андрей и, словно отшвырнув усталость, догнал Георга, повернул его за плечо.

— Если я барабан, то ты свисток. Сначала бы сам научился играть.

— Ты это мне говоришь? — нахохлился Георг.

— Не столбу же тому.

— Извинись. Скажи, что пошутил. Как друга прошу.

— Драх-бада-бада-да-тах! — Понял? — подражая звукам доула, ответил Андрей.

— Еще раз прошу, скажи, что пошутил.

— Иди, давай.

— Что хочешь мог бы тебе простить. Но это... Ты считай всех моих отцов оскорбил. Мой дед на весь Кавказ лучшим зурначом славился. Мой отец лучше него играл. И я сам, можно сказать, с зурной родился. Это ты — не играешь, а как дятел стучишь, — для убедительности Георг постучал костяшками пальцев себя по лбу.

— Э-э, хватит. Не дети же! — вмешался Танхо.

— Что хватит! Он мне в душу плюнул, — сверкнул черными глазами Георг.

— Из двоих кто-то же должен быть умней, — неудачно вставил Танхо.

— А кто дурак? — подняв пухлый подбородок, угрожающе протянул Андрей.

— Ну вас... — махнул рукой Танхо.

— Сам иди. Тоже... начальник.

— Хорошо. Сейчас придем в гостиницу, и делайте, что хотите!

— Хотите — не хотите. Он думает, если родился на два часа раньше, то люди от него разные штуки терпеть должны, — бросил Андрей вслед уходящему Танхо и двинулся на другую сторону улицы.

Так и шли: впереди Танхо, уныло, в шагах двадцати сзади — Георг и по другой стороне улицы — Андрей.

... Смешная человеческая жизнь: можно предугадывать события на десять лет вперед, а вот что тебя ждет через десять минут — порой и не узнаешь.

Не знали этого ни Танхо, ни Георг, ни Анд-

рей. Вернувшись к себе в номер, молча завалились на кровати.

Первым не выдержал Танхо. Подсев к столу с телефоном, он через справочную добрался до нужного номера.

— Это касса аэрофлота? — мягким голосом спросил он. — Здравствуйте, девушка... Мне в Нальчик нужно.

Все что угодно могли ожидать Георг и Андрей, но такого благородства!..

— Значит, завтра? В восемь двадцать... Ага... Спасибо! — слишком громко закончил Танхо и снова завалился на кровать.

Через некоторое время зазвонил телефон. Это была Лена, одна из трех девушек.

Танхо украдкой посмотрел на Георга.

«Это я должен позвать его? Никогда. Прежде кошки начнут лаять!» — подумал он и ответил в трубку:

— Лена! Это я, Танхо! Перезвони! Плохо спышу! — последнюю фразу Танхо почти кричал, хотя и слышал девушку прекрасно.

Снова зазвонил телефон. Георг выждал третий... пятый звонок, медленно поднялся, подошел, снял трубку.

— Да-а, это я, Леночка. А как же, соскучился.

— Приходите вместе, к берегу, — говорила Лена.

— Сегодня не получится. Потом объясню. Встретимся с тобой у наших камней.

— Хорошо, Георг. Позови Андрея. Здесь Таня.

Георг искоса посмотрел на друга. Тот лежал с закрытыми глазами.

«Глаза закрыл, а уши, наверное, как слон

развесил,— подумал Георг.— Э-э! Самый хитрый народ эти барабанщики. Ты, говорит, играть не можешь. Усы сбрею, но не позову».

— Алло! А-а, это ты, Таня? Не слышу. Перезвони! — Георг несколько раз постучал по трубке и нарочито зло опустил ее на аппарат.

— Если телефон поломался, го-лову-у то-да-а оторву-у,— тут же протянул Андрей по своей привычке напевать на какой-нибудь мотив нужные ему слова.

— А если б твоя мать знала, что родишься ты, то она б родила другого,— бросил Георг Андрею и, выйдя из номера, хлопнул дверью.

На следующее утро раньше всех поднялся Танхо. Специально, точно вокруг никого не было, он посвистывал и весело напевал:

— Ты, Нальчик, родина моя.

Проснулись Георг и Андрей, но, притворяясь спящими, лежали с закрытыми глазами. И лишь когда Танхо с гармонью и спортивной сумкой прошел к двери, Георг повернулся к стене, а Андрей пропел:

— Он думает, что он один

Биле-эты смо-ожет достать. Ай джан!

— Ты, Нальчик, родина моя,— насмешливо ответил Танхо и вышел.

Через минуту поднялся Андрей. Умывшись, степенно расчесался, разгладил на животе рубашку и беспечно затыкнул:

— Пускай не думает он.

Что кассы все аэрофлота

Купил его отец родной. Ай джан! — Вышел и он.

— Тоже мне, деловые,— усмехнулся Георг.— Посмотрим, кто прилетит первым!

...В аэропорту друзья упорно не замечали

друг друга, демонстративно помахивая паспортами, из которых дразнящими языками торчали зеленые листы билетов.

В самолете расселись в разных рядах.

...После посадочного толчка друзья невольно переглянулись, но резко отвели взгляды.

Георг улыбнулся, посмотрел в иллюминатор и сказал соседу:

— Знаете, мой дед говорил: человек должен иметь семью, двух друзей, если они настоящие,— для жизни хватит. И еще человек должен иметь родину. Место, куда нельзя не вернуться, как бы хорошо ни было в других краях. Правду говорил дед. Своей семьи у меня пока нет, но зато есть родина и друзья. Родина вот,— показал в иллюминатор Георг.— А друзья тоже здесь. Хотите услышать их?

— А почему бы нет? — снисходительно улыбнулся сосед. Георг еще раз посмотрел в иллюминатор и снова что-то приятно защемило в груди.

Он раскрыл футляр, бережно взял зурну, вставил трость.

— Можно? — спросил он у соседей.

— Давай.

Георг на секунду замер, потом поднес зурну к губам. Выплыли, и от низких, потянувшись к высоким, полились и затопили салон нежно-долгие звуки.

Услышав зурну, настороженно вытянул шею Андрей. Поняв, что это играет Георг, заерзал, беспокойно оглядываясь по сторонам.

— Э-э-э! Не играет, а поет, не быть его отцу в трауре. Аж сердце останавливается! Друг мой это,— сказал Андрей удивленному соседу.— Правда, я его не хвалю, испортится

еще. Но у него дед был мировой зурнист, отец лучше его играл, и сам он, можно сказать, с зурной родился.

Андрей расчехлил доул, перекинул через плечо ремень.

— Поддержать друга надо, а? — обратился он к соседу.

— Играй.

Андрей легко вскинул руку и, ударив по краю доула пальцами, рассыпал затем по салону четкие, точно прыгающие орешки, звуки.

Салон заулыбался.

А с последнего ряда, надевая гармонь, поднялся Танхо.

Вздогнули пальцы его, разошлись меха гармони и, соединившись с доулом и зурной, вступили в салон горящие аккорды.

Играя, Танхо двинулся к первому ряду, где уже возле Георга устроился Андрей.

— Чак-чак-чак, — приветствуя друга, быстрыми пальцами выбил Андрей.

В ответ Танхо рванул меха гармони и вновь заполнил салон обжигающими звуками.

Эти звуки наполняли и все существо Танхо, сильнее разгорались в его глазах, и с каждым мгновением становилось видно, что он не в силах удержать себя и гармонь, и нужно было что-то сделать.

Неожиданно для себя и других Танхо перекинул гармонь за голову и теперь уже за плечами яростнее заходили меха гармони.

Салон, ахнув, замер.

А зурна поднимала мелодию на невероятную высоту и, подхватив звуки гармони и доула, казалось, вырвалась из самолета.

— Товарищи! — хотела вмешаться бортпроводница, но ее умоляюще перебил сосед Георга. Он приложил палец к губам и произнес:

—Пожалуйста... доченька. Душа поет.

СИНИЙ ГОЛУБЬ

Не стало у Асэфа бабушки. Умерла Дэдэ. Ушла спокойно. И даже когда глаза ее уже ничего не видели, а светились, как два маленьких светло-карих озерца, на глади их словно было сказано: то, что могла сделать я — маленькая горская женщина,— сделала.

Имя у Дэдэ теплое — мама. Асэф никогда не называл ее бабушкой. Ба, бабуль, ба — вот только так и никогда по-другому. Да и все вокруг любили ее. Выйдет она посидеть у калитки, не пройдет и пяти минут, как к ней подсядет соседская женщина или девушка. И как только узнавали, что она на улице? Дэдэ никогда не говорила много. Больше слушала. И только изредка весело или задумчиво, поправив на голове темную, повязанную к затылку косынку, скажет два-три слова. Зато в тот же час или день соседи скажут о ней: как Дэдэ умеет красиво говорить!

Лицо ее выписано чистыми долгими морщинами. Такие же суховатые, с заметными венами ее руки. И душа... душа ее похожа на усталую спокойную реку: течет река, а вот появляется еще одна, поменьше, и впадает в большую реку. Так и люди. Раз появились они в жизни ее, значит, несут свои годы вместе. Бывало всякое, встречались и такие реки,

которые высыхали. Но не по вине большой реки.

А вот теперь не стало ее, единственной ба Асэфа.

Слезы пересохли, душа перегорела. Стало как в чистой покинутой комнате...

Вот почти и подъехали к дому Дэдэ. Ее оставили там, под рыхлым желтым холмиком, а сами приехали.

Асэф, кажется, и не заметил, как, мерно гудя, неся в себе людской говор, «Икарус» подкатил к дому. Нет, он видит лица, и разговоры. А однажды захотелось сжать кулаки и дать в морду: кто-то улыбнулся. Но Асэф понимал: нельзя винить. Человек с годами становится как камень, иногда тверже камня. Таким его делает жизнь, таким его лепят многочисленные за жизнь смерти родных, близких и окружающих людей.

И знал Асэф, понимал, что улыбнувшийся не злорадствовал. Просто человеческая жизнь в этом мире, как лист на осеннем дереве.

Автобус остановился. Резко раскрылись двери. Асэф почувствовал, что лицо его стянуто, словно покрыто чем-то вязким: высохшие слезы.

Автобус с женщинами подъехал, как обычно, раньше, и они уже большой группой стояли у раскрытых ворот и, поливая друг друга из кружки, легкими хлопками бросали в лицо воду. Потом стали умываться мужчины. Так вот положено. Людей было много. В раскрытые ворота были видны два стола, длинно протянувшихся вдоль широкого двора. Один стол тянулся вдоль деревянного забора, другой — вдоль стены дома.

Первыми за стол стали усаживаться старики. Потом мужчины помладше. За второй стол сели товарищи Асэфа.

Проходя в глубину двора, Асэф ответил кивком нескольким знакомым уважаемым мужчинам. Среди них был и секретарь парткома фабрики Илья Григорьевич.

Над двором стоял осторожный легкий говор.

Свадьбы — да будут всегда свадьбы! — похороны теперь стали тоже местами встреч давно не видевших друг друга людей.

Асэф понимал и это. Асэф — поэт.

Правда, знаменитым он не был. Просто писал стихи, работал на фабрике.

...В глубине двора, под виноградником, в темных платьях сидели женщины. В середине старшие по возрасту покачивали головами и вели плач. Плач уже был негромким и усталым.

Асэф достал сигарету, по ступенькам вошел в прихожую дома, прислонился к стене и закурил.

Из окна Асэф заметил, как отламывает небольшие кусочки лаваша и, окуная их в соль, раздает близ сидящим Савке — долголицый горбоносый мужчина, обувщик.

Лица, лица, лица.

Асэф заметил круглое, как мячик, лицо директора школы. Он вертит перед Миной, инженером фабрики, маленькой ручкой, и видно, что инженеру уже надоело философствования директора. В начале «старшего» стола, среди стариков, сидели рабби — священники. Один из них встал, провел ладонью по острой белой бороде, словно вытянул колпачок.

поднес «Писание» к глазам и медленно, кивая в такт головой, стал читать. Асэф вышел. Над столами звучал равномерно-носовой звук голоса рабби и в промежутках поднималось многочисленное мужское «Омин!».

— Омин!

— Омин!

— Омин!

Лица. Лица. Лица за общим столом. Разные. Но в незримом все чем-то похожие друг на друга.

Асэф попался на взгляд своего друга Коли, добродушного молодого человека с широкими усами, широколицего, похожего на мясника, и мясника на самом деле. Он кивнул Асэфу: подойди. Асэф хотел было отказать: сейчас нет, но на него смотрели самые близкие друзья, сидевшие с Колей, и ждали тоже. Асэф подошел. Товарищи раздвинулись. Асэф сел.

И снова тепло стало оттого, что в этот день друзья пришли сочувственно пожать ему руку, поехали с ним на кладбище, бросили по горстке земли на могилу бабушки, и теперь снова с ним.

Молча разлили водку по рюмкам. Помолчали. Черноусый, слегка горбоносый Витя поднял рюмку.

— Не видеть тебе больше горя!

— Омин! Омин! Омин! — кивнули ребята головами и разом выпили.

Потом Асэф поднялся, сказав, что надо узнать, как справляется с делами младший брат и другие родственники, подававшие на стол.

Асэф уже был в глубине двора, как его остановил громкий мужской плач:

— Ахи-Ахи-Ахи!

Это был разлохмаченный пятидесятилетний Шорхош, всегда в одном и том же замусоленном пиджаке, бесцветных брюках.

Шорхош по обыкновению ходил по свадьбам, поминкам, танцевал и плакал. Танцевал оттого, что свадьба. Плакал — то ли оттого, что ему действительно было жалко ушедшего или себя, то ли оттого, что выпил мало и надо добавить. Шорхоша почти не гнали, если он знал свою меру.

Шорхош уже подошел к Асэфу, что-то залепетал, и сразу в спину Асэфу ударились несколько женских голосов:

— Выведи!

— Вывести надо.

Но Асэф не прогнал Шорхоша, а повел и посадил в дальнем углу стола. Он налил Шорхошу водки и снова пошел в глубину двора. Прежний осторожный говор, стоявший над двором, стал перекатываться в гул.

Вдруг над головами раскинулось хлопанье:

Хоп-хоп-хоп.

Хоп-хоп-хоп.

Двор замер.

Хоп-хоп-хоп.

Лица обратились к небу, к осеннему синему небу: над двором бил крыльями голубь:

Хоп-хоп-хоп.

Головы поворачивались. Голубь опускался. Голубь был белым. Но он опускался с синего неба и был словно малая часть безбрежной синевы. Синий кусочек синего неба.

Головы поворачивались. Голубь сложил

крылья и сел на плечо Мини. Мужчина застыл с растерянной полуулыбкой. Его рука так и осталась лежать на столе, прижав вилку. Все смотрели на Миню.

Голубю надоело черное плечо, и он порхнул на стол. Затем, ткнув клювом в тарелку с мясом, взлетел и снова сел на плечо другого мужчины. Голубь почистил перья и на этом замершем плече и вновь слетел на стол.

Асэф смотрел в лица людей. Многие опускали головы, стараясь скрыть... улыбки.

А голубь снова садился на чье-то плечо. И снова его не прогоняли и не брали на руки.

— Голубь! — вдруг радостно рванулся маленький мальчик, но женская рука жестко остановила его.

Асэфу подумалось, что в этом есть что-то особенное, и руки его потянулись к голубю, чтобы приласкать птицу. Но вокруг были люди, и Асэфу казалось, что руки его связаны.

Все это продолжалось с минутой.

Голубь слетел еще с одного застывшего плеча, поднялся и забил крыльями. Он становился меньше и меньше.

Люди опустили головы, словно разом выдохнув, заговорили.

Поднялся рабби. Асэф не слышал его.

Синие крылья сливались с синей безбрежностью.

Асэф посмотрел на читающего «Писание» рабби. Рабби закончил читать, и люди стали вставать из-за стола. Асэф увидел, как поднялись его товарищи, достал сигареты и пошел к ним.

ПОДОЖДИ-КА!

Эрзол сложил газету вдвое и бросил ее на стол.

— Эх, неохота,— подумал он.— Ничего неохота. Ни читать, ни думать... Не быть моему отцу в трауре, интересно, сколько дум я передумал за жизнь?

Он повернулся на стуле, встал. Выходя из дому, прихватил низкую аккуратную табуретку.

Во дворе у таза с гусиными перьями на низеньком стульчике с двумя подушками восседала его старуха Шимхо. Она быстрыми щипками срывала с перьев пух, а сама, казалось, была далеко от этого пестрого вороха, от своих рук: так неподвижно смотрели ее выцветшие глаза.

— Ты куда?.. — подняла она белую голову навстречу проходившему мимо Эрзолу.

— Пойду на улице посижу, на людей посмотрю,— ответил Эрзол.

— Иди-иди, вечер хороший, и солнце село.— Шимхо несколько раз кивнула в такт своим словам и снова вернулась к своим мыслям.

А вечер был действительно хорош. Он вывел людей из домов, и они сидели сейчас группками у ворот, вороша старые, перекручивая новые истории, или же выставляли на суд соседей свои домашние заботы.

Соседи сразу заметили Эрзола.

— Быть доброму вечеру! — в несколько голосов перелетело к Эрзолу через неширокую улицу.

— Здравья вам,— ответил Эрзол.

Соседи пригласили Эрзола к себе, но он уже удобно сидел. Вставать не хотелось.

— Не беспокойтесь, я здесь посижу. Моя сторона вкуснее,— пошутил Эрзол и по привычке повел по белым буденовским усам двумя пальцами в одну и другую сторону.

После жаркого дня улица ожила. Мимо Эрзола проходили знакомые и незнакомые люди. Многих он просто не замечал, а если появлялось интересное для Эрзола лицо, хитро прищуренный глаз стрелял острым бодливым взглядом.

В шагах десяти от себя Эрзол увидел молодую женщину.

— Ишь ты,— залюбовался он.— Аж потрогать хочется... Ох, какой мир стал... Женщина от паранджи к этим коротким платьицам скакнула. И к этим вот вырезам на груди. Того и гляди вывалится оттуда что есть и чего нету.

— Когда-то отрадой белого света были у меня женщины, а теперь — просто белый свет,— качнул головой Эрзол.

— А теперь копошись потихоньку, Эрзол, и люби, как бог, все живое и неживое.

Эрзол хлопнул ладонями по коленям и вдруг вспомнил, что сегодня он должен... умереть.

— Постой, не сегодня,— засомневался он.— Нет, точно — сегодня. Чертом я порожден, если не так. Именно сегодня.

— Не быть моему отцу в трауре! — теперь Эрзол удивился своей и вообще человеческой памяти, качнул головой, восхищаясь, как это — благодаря какой-то малости, через несколько лет можно что-то вспомнить.

Интересно сделана человеческая голова. Вот, кажется, всего лишь женщина прошла, а он вспомнил.

— Спасибо тебе, дочка, если бы не ты, не пришлось бы мне умереть сегодня. А сейчас и время подходящее — прохладное, — Эрзол представил водку, потом сразу увидел диван, на котором он решил умереть. На диване удобнее, да и постель разбирать не надо.

— Умирать-то, умирать, — Эрзол почувствовал, как заселился в нем другой, очень неуютный Эрзол, — Шимхо как на это посмотрит. Еще выйдет из этого что-нибудь. Нет, перетерпит, она еще молодая. Что такое для женщины шестьдесят пять лет?! — успокоил себя Эрзол.

— А может, ей все прямо сказать? Нет, скажешь — умираю, чего доброго свалишь старуху с ног. Так не пойдет. Ну как же сказать Шимхо? Как? — злился Эрзол, что ничего не приходит на ум, и мысли, как тяжелые мешки: несколько свалилось, а их и не поднять и не передвинуть.

Несколько минут Эрзол закручивал усы, потягивал их к вискам и наконец подумал:

— Ага, вот как я скажу Шимхо...

Эрзол уперся руками о колени, поднялся и, прихватив табуретку, вошел в калитку.

Дом у Эрзола небольшой — в глубине двора. А зачем старикам больше? Двух комнатушек с кухонькой хватит. Зато с улицы стоит хороший. Сыну выстроил. Главное, не один живет он в этом большом дворе. Сын, внуки. Правду говорят: старость без детей — дом без окон, темница.

Эрзол вошел в дом.

— Кушать будешь? — спросила Шимхо. Она стояла у газовой плиты и сама походила на нее: такая же широкая, только выше и темнее.

— Я умирать пришел, — чуть было не сказал Эрзол, но вслух коротко ответил:

— Нет.

Он прошел в переднюю комнату и лег на диван, свесив ноги.

— Шимхо! — крикнул он. — Шимхо! — И тише добавил: — Глухая баба.

— Чего? — подошла старуха. — Чего ты так лег, по-человечески нельзя? — показала Шимхо на сапоги.

— Сними лучше.

— Ты чего, нездоров?

— Не видишь, что ли. — Эрзол сделал очень серьезное лицо, остановил взгляд на потолке и высоко поднял подбородок.

— Слушай меня, пойді к моим товарищам Бодону и Савке и скажи, что тяжелый я. Прощаться хочу.

— Умереть мне! — всплеснула Шимхо руками по коленям. — Что говоришь ты?

«Вот дура, — подумал Эрзол, — не видит, что ли, какой я».

— Не поднимай крика. Иди. Только смотри, никому ни слова больше. А сапоги, так уж и быть, я сниму сам. Поняла?

Эрзол сел, для успокоения весело подмигнул Шимхо и стал стягивать сапоги.

— Подожди, помогу, — наклонилась Шимхо, но Эрзол отстранил ее руку:

— Ты делай, что тебе сказал, — Эрзол вытянулся на диване и сложил на груди руки.

— Ах-ах, как хорошо,— подумал он, чувствуя пальцами и пятками прохладу и легкость.

Шимхо вдруг показалось, что лицо Эрзола действительно стало белее усов.

— Чего стоишь? Ты только не волнуйся, походи к Бодону и Савке и скажи, что я зову их попрощаться. Смотри, больше никому ни слова. Иначе потом выгоню тебя из дома:

«Как это — потом!» — подумала Шимхо.

— Идешь или нет?! — Эрзол резко поднялся и увидел, что глаза Шимхо стали похожи на трехкопеечную монету.

— Да не бойся ты. Иди,— нежно сказал Эрзол.

«Здесь что-то есть,— подумала Шимхо.— Умиравший так не вскакивает и не подмигивает».

Эрзол сцепил на груди пальцы, но глаза не закрывал, смотрел на Шимхо.

«Сына позвать, что ли?» — подумала Шимхо.

— Если кому-нибудь скажешь, тогда смотри! — сказал Эрзол, будто отгадав ее мысли.

«А может, так действительно лучше,— Шимхо чувствовала, что ее мысли никогда так быстро не носились в голове.— Да, позову его друзей, кто знает, что на уме у этого старого черта».

— Идешь или нет? — медленно расставил Эрзол слова.

— Иду, иду,— Шимхо вышла.

— Вот так, хорошо,— Эрзол пригладил усы.— И Шимхо, кажется, не испугалась, и дело будет. А иначе нельзя,— оправдывался перед собой Эрзол.— Ведь бабий язык какой: хоть на замок закроешь, так он в замочную

скважину да и вылезет. Но теперь главное дело было сделано и умереть не страшно.

Эрзол сложил на груди руки, закрыл глаза и представил...

...Он лежит на белых простынях, белых подушках, по грудь накрытый белым до синевы одеялом. В другой комнате сидят старухи. Вот уходит его последнее дыхание. Сразу же поднимается вой, крики. Шимхо крепко держат за руки, но она вырывается и успевает растрепать волосы и, крича, расцарапать себе лицо. Потом его раздевают, безжизненное тело переносят и кладут в цинковую ванну...

Тут Эрзол почувствовал, как по его груди к ногам пробежал отвратительный холод. Эрзол резко сел.

— Тьфу! — сплюнул. — Какая это гадость! Я в ваши усы... — ругнул он своих товарищей и взялся за сапог. Нагнувшись, он подумал, что сапоги надевать еще нельзя, встал и пошел искать шлепанцы. Потом достал из холодильника водку, поставил ее на стол в комнате, где был диван, и сел у окна. Он посмотрел на смятую подушку и снова с наслаждением ругнулся:

— Я в ваши усы...

Во дворе слышались шаги. Эрзол посмотрел в окно и увидел озабоченные лица. Шимхо что-то показывала руками, вслед ее словам два старика, широко расставляющий ноги, плотный Бодон и аккуратненький, маленький Савке, покачивали головами.

— Го-го-го, — засмеялся Эрзол. Снова вытянулся на диване и закрыл веки.

Он услышал осторожные шаги и тихий голос Бодона:

— Уснул, что ли?

Эрзол открыл глаза, увидел склонившиеся над ним напряженные лица и сомкнул веки.

— Что с тобой, брат мой? — спросил Бодон.

— Пора мне, ухожу от вас, — сдержал Эрзол смех.

— Не говори дурных слов!

Эрзол услышал, как возле него поставили стулья, и Бодон с Савке сели.

— Ухожу. Вон водку приготовил. Выпьем по сто грамм, и я умру. — Эрзол открыл глаза.

«И вправду, что ли, думают, что подыхаю? Хрена вам, а не моих похорон», — Эрзол чувствовал, что больше не может сдержать смех.

— Гу-гу-гу-гу! Да садитесь вы, — гулко хохотал Эрзол.

— Ты что, на старости с ума сошел? — Савке повертел тонкими маленькими руками.

— Нет. — Эрзол перестал смеяться, но еще улыбаясь, спросил:

— Сегодня какое число?

Старики переглянулись.

— Пятнадцатое. Ну, дальше? — Бодон чуть наклонил к плечу голову.

— Эх, — бросил рукой Эрзол. — Ничего не понимаете... Помните... пять лет назад мы сидели в этой комнате. Все трое. И ты мне сказал: «Даю тебе пять лет жизни». Вспомнил? Значит, сегодня я должен был умереть. А? — Эрзол прикрыл один глаз.

— Так и сказал бы сразу, — покачал головой Бодон.

— От него чего-нибудь хорошего разве увидишь? — Савке махнул рукой.

— Увидите, может быть. Если дадите еще лет пять пожить.

За спинами друзей Шимхо покачала головой.

— Такого вот товарища нам бог дал. Сколько мы его уже терпим,— начинал смеяться Бодон.

— Э-э-э, тебя-то я знаю, ты бы меня еще лет сто с удовольствием потерпел бы.

— Жenuшка, хотя при них и неудобно тебя так называть, приготовь-ка нам хинкал. А мы пока пару партий в карты сыграем.— Эрзол пригласил стариков к столу...

Наливали по полной рюмке.

— Интересное дело,— говорил Эрзол, вытирая полотенцем масляные губы.— Женщину увидел и вспомнил. А потом сижу на улице и думаю, как бы так сказать, чтоб никто не испугался. И еще думаю — неудобно такими вещами заниматься, не мальчик все-таки. Но как представлю все,— смех так и прет из меня. А что нам еще осталось. Хоть подурачимся напоследок. Самое интересное было, когда лежал и представлял, как это я на тот свет ухожу. До того ясно представил, что чуть и вправду не умер. А зато мы сейчас вместе. У стариков ведь точно, как у молодых: друзья нужны.

— Савке,— попросил Эрзол,— скажи нам пару хороших слов. Хоть и маленькая твоя белая голова, но когда говоришь ты, удивляюсь, где такая уйма слов прячется.

— Зато в твоей здоровой кастрюле и прятаться нечему,— Савке поднял тонкими, цепкими пальцами рюмку.— Давайте выпьем за нашу землю. Чтобы всегда была она для наших детей и внуков. И чтобы не было войн! За светлый мир!

...Когда прощались, Бодон выделил Эрзолу еще пять лет жизни и, хлопнув по плечу, сказал:

— До встречи, брат...

...В полночь Эрзол проснулся.

Шимхо спала на своей кровати. Эрзол сбросил с себя одеяло, босиком прошлепал к ней, несколько раз осторожно, пока она не проснулась, толкнул в плечо.

— Пошли,— Эрзол потянул за руку севшую на кровати Шимхо.

— Старый черт. И на старости успокоиться не может,— проворчала Шимхо, поняв, куда ее тянет старик.

Эрзол пропустил ее вперед и, шлепая за ней, на мгновение остановил взгляд на открытом окне.

Ночь. Черная августовская ночь, как бездомного щенка, придавила землю. Только в далекой темноте холодным блеском подергивались звезды. Эрзолу показалось, что это не звезды, а чьи-то шальные глаза всю сейчас смеются над ним — над Эрзолом, над всей его жизнью, над всем тем, что совершал он и делает сейчас.

«Несмешные дела,— долго потянулась мысль. Эрзол посмотрел на свою кровать, потом снова в окно и, словно кого-то одолев, подумал: — Подожди-ка ты еще у меня, собачья дочь».

— Черта с два! — кулаком погрозил кому-то в темноту Эрзол. Но, посмотрев в окно, испуганно шепнул:

— Спаси меня бог,— несколько раз шаркнул ступнями о маленький коврик и влез к Шимхо в теплоту.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕСТНИЦЫ	3
ДУША В ДУШУ	12
ВЫБОР	17
СТАРЫЕ КАРТИНКИ	26
ЩЕЛБАНЫ	38
РАЗ! ДВА! ТРИ!	42
ПЕРЕМИРИЕ	53
СИНИЙ ГОЛУБЬ	60
ПОДОЖДИТЕ-КА!	66

Мигиров И. А.

**М 125 До встречи, брат : Рассказы.—
Нальчик : Эльбрус, 1984.— 76 с.**

20 к. 1000 экз.

Первая книжка молодого татского прозаика, пишущего на русском языке.

**М 4702010000-036
М 125 (03)-84 31-84**

С (Тат) 2

Носиф Александрович Мигиров

ДО ВСТРЕЧИ, БРАТ

Р а с с к а з ы

Редактор А. С. Кайданов

Художник М. С. Кастромин

Художественный редактор И. Г. Абрамов

Технический редактор Н. М. Рахаева

Корректор В. А. Вымякина

ИБ № 1134

**Сдано в набор 16.02.84. Подписано к печати 10.04.84.
401181. Формат 70×90¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ.
л. 2,78. Усл. кр.-отт. 2,96. Уч.-изд. л. 2,7. Тираж 1000 экз.
Заказ № 1289. Цена 20 коп.**

Издательство «Эльбрус»

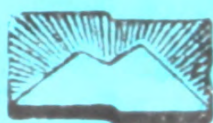
Нальчик, улица им. адмирала Головки, 6

Полиграфкомбинат им. Революции 1905 года

Госкомиздата КБАССР

Нальчик, проспект им. Ленина, 33

20 коп.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭЛЬБРУС»

НАЛЬЧИК · 1984